

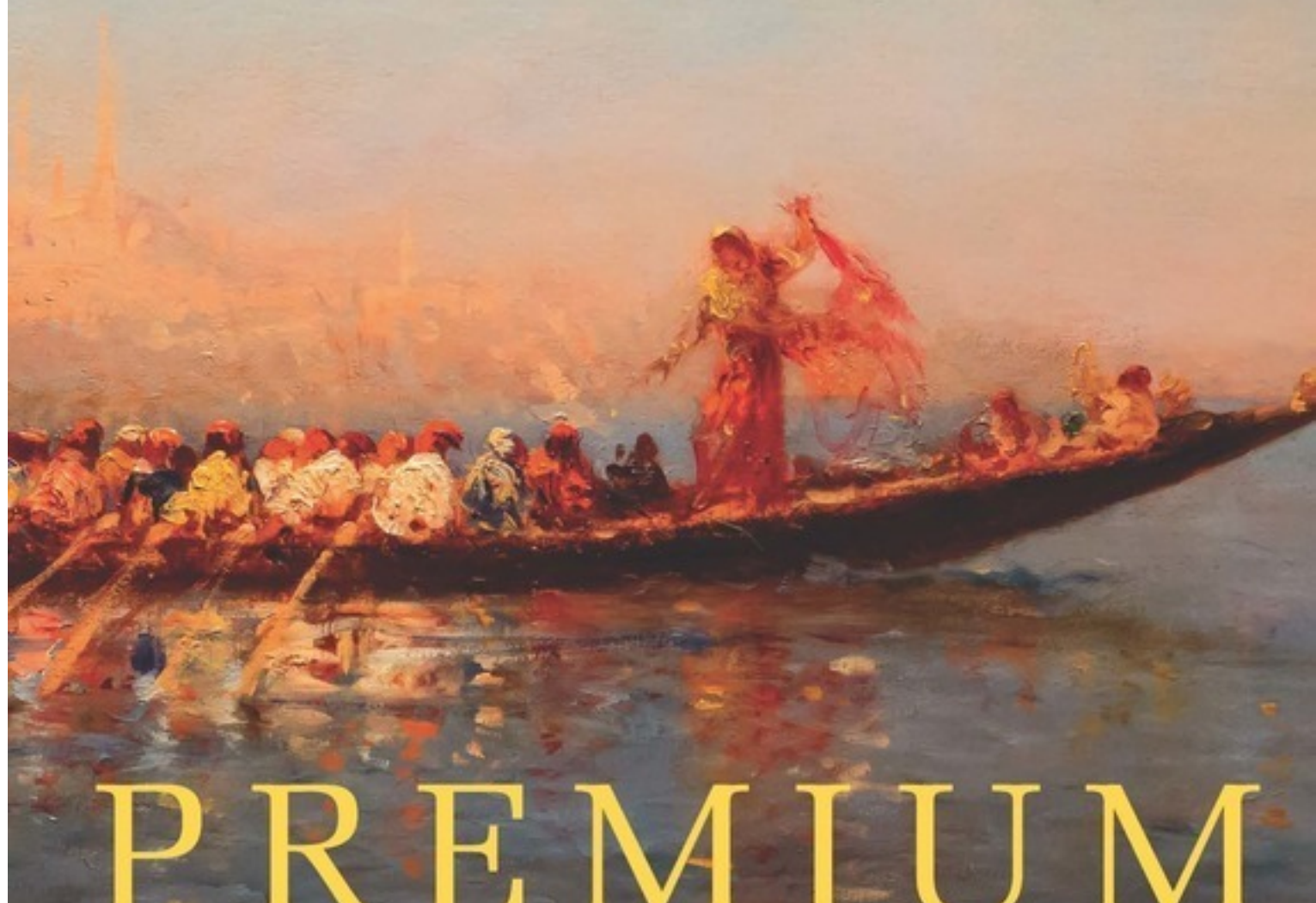


Лауреат
Нобелевской премии
по литературе



Орхан Памук

Имя мне — Красный



Орхан Памук

Имя мне – Красный

«Азбука-Аттикус»

1998

Памук О.

Имя мне – Красный / О. Памук — «Азбука-Аттикус», 1998

Четырем мастерам персидской миниатюры поручено проиллюстрировать тайную книгу для султана, дабы имя его и деяния обрели бессмертие и славу в веках. Однако по городу ходят слухи, что книга противоречит законам мусульманского мира, что сделана она по принципам венецианских безбожников и неосторожный свидетель, осмелившийся взглянуть на запретные страницы, неминуемо ослепнет. После жестокого убийства одного из художников становится ясно, что продолжать работу над заказом султана – смертельно опасно, а личность убийцы можно установить, лишь внимательно всмотревшись в замысловатые линии загадочного рисунка.

© Памук О., 1998

© Азбука-Аттикус, 1998

Содержание

1. Я – мертвец	6
2. Меня зовут Кара[4]	9
3. Я – собака	13
4. Меня назовут убийцей	16
5. Я – ваш Эниште	21
6. Я – Орхан	25
7. Меня зовут Кара	28
8. Меня зовут Эстер	31
9. Я – Шекюре	33
10. Я – дерево	38
Рассказ о том, как я выпало из своей истории, подобно слетевшему с дерева листу	39
11. Меня зовут Кара	42
12. Меня называют Келебек	50
Стиль и подпись	51
Три притчи о стиле и подписи	52
Алиф[50]	52
Ба[51]	52
Джим[52]	53
13. Меня называют Лейлек	57
Рисунок и время	58
Три рассказа о рисунке и времени	59
Алиф	59
Ба	59
Джим	60
14. Меня называют Зейтин	63
Слепота и память	64
Три истории о слепоте и памяти	65
Алиф	65
Ба	66
Джим	67
15. Меня зовут Эстер	69
16. Я – Шекюре	72
17. Я – ваш Эниште	75
18. Меня назовут убийцей	79
19. Я – монета	83
Конец ознакомительного фрагмента.	85

Орхан Памук

Имя мне – Красный

Посвящается Рюйе

*И вот вы убили душу и препирались о ней.
Коран, сура «Аль-Бакара», аят 72¹*

*Не сравнится слепой и зрячий.
Коран, сура «Фатыр», аят 19*

*Аллаху принадлежат и восток, и запад.
Коран, сура «Аль-Бакара», аят 115*

Orhan Pamuk

BENİM ADIM KIRMIZI

Copyright © 1998, İletişim Yayınları A. Ş.

All rights reserved

© М. Шаров, перевод, примечания, 2014

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014

Издательство АЗБУКА®

1. Я – мертвец

Я теперь мертвец, труп, лежащий на дне колодца. Я давно испустил свой последний вздох, давно остановилось мое сердце, но, кроме подлого убийцы, никто не знает, какая участь меня постигла. А он, мерзавец, хотел точно удостовериться, что прикончил меня: прислушался, не дышу ли, пощупал, не бьется ли пульс, потом пнул меня в бок, оттащил к колодцу, перевалил через край и сбросил вниз. Когда я долетел до дна, мой череп, и без того уже проломленный камнем, разлетелся на куски; лицо превратилось в месиво, не осталось ни лба, ни щек; кости переломались, рот наполнился кровью.

Вот уже четыре дня, как я не появлялся дома. Жена и дети сбились с ног, меня разыскивая. Дочка выплакала все глаза и все смотрит на садовую калитку, все домашние извелись от неизвестности и ждут, ждут, когда же я вернусь.

А может, никто и не ждет, я даже этого точно не знаю. Может, уже привыкли, что меня нет, – вот это было бы плохо. Ведь когда человек попадает сюда, ему начинает казаться, что там, в оставленной им жизни, все продолжает идти точно так же, как прежде. Что было до моего рождения? Бескрайняя бездна времени. И после моей смерти время будет длиться долго, бесконечно! Пока я был жив, никогда об этом не задумывался, жил себе в полоске света между двумя безднами тьмы.

И я был счастлив, теперь-то я понимаю, что был счастлив. Теперь мне ясно: именно я делал самые лучшие книжные заставки в мастерской нашего султана, и не было там ни одного художника, чье мастерство могло бы сравниться с моим. Заказы со стороны приносили мне девятьсот акче в месяц. От мыслей обо всем этом смерть, разумеется, становится еще более невыносимой.

Я занимался только заставками и орнаментом, украшал края страниц золочеными рамками, а внутри рамок рисовал ветви деревьев, разноцветные листья, розы и другие цветы, птиц, курчавые облака в китайском стиле, красочные куши и притаившихся в них газелей; и еще были на моих рисунках галеры, дворцы, падишахи, кони, охотники... Раньше я, бывало, брался расписывать тарелки; мог украсить рисунком обратную сторону зеркала, или ложку, или крышку сундука, а то и потолок какого-нибудь особняка или ялы² на Босфоре. Но в последние годы я расписывал только книжные страницы, потому что наш султан щедро платит за изящно украшенные книги. И знаете, я не могу сказать, что теперь, встретившись со смертью, понял, что деньги в жизни совершенно не важны. Даже мертвый человек знает, как важны деньги.

Знаю, знаю, что вы сейчас думаете, чудесным образом слыша голос мертвеца: брось ты хвастаться, сколько денег зарабатывал, пока жил! Говори, что *там* увидел! Расскажи, что бывает после смерти, про рай и про ад, расскажи, где сейчас твоя душа, больно ли ей? Каково это – быть мертвецом? Да, вы правы. Я знаю, живым очень любопытно, что творится на том свете. Говорят, некий человек из одного только этого любопытства бродил по полям кровавых сражений среди распростертых тел: хотел найти между ранеными, пытающимися одолеть смерть, такого, кто уже умер, а потом ожил, и расспросить его о тайнах иного мира. Воины Тимура приняли его за врага, один из них ударом меча разрубил его надвое – и бедняга решил, что на том свете человек разделяется на две половины.

Ничего подобного. Более того, могу вам сказать, что здесь раздвоенная при жизни душа вновь становится единым целым. Иной мир, хвала Всевышнему, существует, что бы там ни говорили неверные, безбожники и совращенные шайтаном богохульники. И вот доказательство: я говорю с вами отсюда. Я умер, однако, как видите, не превратился в ничто. Правда,

² Ялы – особняк, стоящий на берегу моря и имеющий собственную пристань. – Здесь и далее примечания переводчика.

должен признаться, что ни золотых, ни серебряных дворцов, что стоят на берегах райских рек, ни широколистных деревьев, склоняющихся от тяжести спелых плодов, ни прекрасных дев, о которых говорится в Коране, в суре «Аль-Вакиа», я не видел. А ведь сколько раз и с каким удовольствием рисовал я райских гурий с огромными глазами – как сейчас помню! И четырех рек, текущих молоком, медом, вином и сладкой водой, о которых написано пусть и не в Коране, а у неумных фантазеров вроде Ибн Араби³, я тоже, разумеется, не узрел. Однако мне не хотелось бы ввергать в неверие живущих мечтами о том свете и надеждой на него, поэтому сразу скажу: все это объясняется положением, в котором я сейчас нахожусь. Всякий правоверный, который хоть что-нибудь слышал о жизни после смерти, согласится, что не нашедшей упокоения душе вроде моей весьма затруднительно было бы увидеть райские реки.

Если говорить кратко, то суть вот в чем: человек, известный в мастерской и среди художников как Зариф-эфенди, умер, но не был похоронен, а потому его душа не смогла окончательно расстаться с телом. Для того чтобы моя душа попала в рай или в ад – смотря что ей уготовано, – она должна освободиться от бранных моих останков. Нынешнее мое исключительное положение, в которое, впрочем, случалось попадать и другим людям, причиняет душе страшную боль. Нет, я не ощущаю, что мой череп расколот, кости переломаны, а изувеченное тело гниет, погруженное наполовину в ледяную воду; но зато я чувствую, как тяжело страдает моя душа, пытающаяся выбраться из тела: словно весь мир сжимается внутри меня, чтобы уместиться в каком-нибудь тесном уголке.

Это ощущение тесноты я могу сравнить лишь с поразительным чувством простора, которое испытал в неподобный миг смерти. Когда этот подлец неожиданным ударом камня раскроил мне череп, я сразу понял, что он хочет меня убить, – но не поверил, что это ему удастся. Оказывается, я был полон надежд на лучшее, хотя никогда не замечал этого, пока жил своей блеклой жизнью между мастерской и домом. Я цеплялся за жизнь ногтями и зубами – даже укусил его. Не буду утомлять вас рассказом о том, какую боль я испытал, когда он нанес мне еще несколько ударов по голове.

Когда же я с тоской понял, что умираю, меня охватило невероятное ощущение простора. С этим ощущением я и перешел в иной мир, и было это так, как бывает, когда во сне видишь самого себя спящим. Последнее, что явилось моему взору, были забрызганные грязью туфли подлого убийцы. Затем я закрыл глаза, словно уснул, и тихо, плавно перешел границу жизни и смерти.

Я не жалею о том, что выбитые зубы, словно каленый горох, забили мой окровавленный рот, что лицо мое изуродовано до неузнаваемости, что я валяюсь на дне колодца; но то плохо, что меня до сих пор считают живым. Те, кто меня любит, постоянно вспоминают обо мне и думают, что я, наверное, сейчас предаюсь дурацким развлечениям в каком-нибудь уголке Стамбула, а может быть, даже связался с другой женщиной, – вот что терзает мою неупоконенную душу. Быстрее бы нашли мое тело, совершили заупокойный намаз и предали бы меня наконец земле! А самое главное – пусть найдут убийцу! Знайте: даже если меня похоронят на самом великолепном кладбище, я все равно буду ждать, беспокойно ворочаясь под землей и заражая вас неверием, пока не разыщут этого мерзавца. Найдите это отродье шлюхи, и я во всех подробностях расскажу о том, что увижу в ином мире! И учтите, что, когда убийца будет найден, его нужно будет подвергнуть пыткам, разможжить ему тисками с десятков костей, лучше всего тех, что в груди, – медленно-медленно, чтобы трещали; а потом пусть вырвут его мерзкие сальные волосы, прядь за прядью, разодрав всю кожу на голове, пока он будет захлопываться криком.

Кто он такой, этот убийца, которого я так ненавижу? Зачем он так предательски со мной поступил? Вам следует это выяснить. Вы говорите, что в мире полно мерзавцев и злодеев, так

³ Ибн Араби (1165–1240) – исламский богослов, крупнейший представитель и теоретик суфизма.

что какая разница, кто меня убил? Тогда я должен предупредить вас вот о чем: за моей смертью таится ужасная угроза нашей вере, нашим традициям, нашим взглядам на мир. Откройте глаза и попытайтесь понять, зачем меня убили враги ислама и нашего образа жизни, в правильности которого вы убеждены, – ведь однажды они с теми же целями могут убить и вас. Сбываются, в точности сбываются слова великого проповедника ходжи Нусрета из Эрзурума, которые я слушал со слезами на глазах! И вот что еще я вам скажу: если о том, что происходит с нами, написать книгу, то ни один даже самый искусный художник не сможет сделать к ней иллюстрации. Как и в случае с Кораном – только не поймите меня неправильно! – могучая сила этой книги будет проистекать именно из того, что ее невозможно сопроводить рисунками. Сомневаюсь, впрочем, что вы смогли понять, о чем я говорю.

Но подумайте вот о чем: сам я в ученические годы боялся голоса истины, исходящего из глубин бытия, с другой его стороны, а оттого старался не обращать на такие вещи внимания, смеялся над ними. И вот чем все закончилось: дном паршивого этого колодца! С вами тоже может случиться подобное, так что будьте начеку. А мне теперь ничего не осталось – только надеяться, что меня найдут по гадкому запаху, когда я уже порядком подгнию. Да еще мечтать о том, что какой-нибудь добрый человек, отыскав моего убийцу, подвергнет его пыткам.

2. Меня зовут Кара⁴

Двенадцать лет я не был в Стамбуле, городе, в котором родился и вырос, и сейчас вошел в него, чувствуя себя так, словно хожу во сне. Про покойников говорят, что их призвала к себе земля, меня же призвала в Стамбул смерть. Поначалу я думал, что дело только в смерти, но потом встретился с любовью. Однако в тот миг, когда я входил в город, любовь была так же далека и полузабыта, как годы, прожитые здесь. Двенадцать лет назад в Стамбуле я влюбился в дочь моей тети по матери, тогда совсем еще маленькую девочку.

Покинув Стамбул, я только через четыре года вдруг понял, что, пока разъезжал, развозя письма и собирая налоги, по стране персов, по бескрайним ее степям, по заснеженным горам и печальным городам, я постепенно забыл лицо своей юной возлюбленной. Меня охватило смятение; я изо всех сил пытался вспомнить его, но в конце концов понял, что, как бы сильно ты ни любил, нельзя не забыть, как выглядит человек, если совсем его не видишь. Через шесть лет жизни на Востоке, через шесть лет, проведенных на службе у пашей, в разъездах и над бумагами, я уже знал, что лицо, которое я рисовал себе в мечтах, не было лицом моей стамбульской возлюбленной. На восьмой год я забыл и это лицо и, пытаясь вспомнить его, видел уже совершенно другой образ. И вот теперь, по прошествии двенадцати лет, вернувшись в родной город тридцатилетним мужчиной, я с горечью понимал, что давным-давно уже не помню лица любимой.

Почти все мои друзья, родственники, знакомые по кварталу за эти двенадцать лет умерли. Я пошел на кладбище над Золотым Рогом, помолился на могиле матери и умерших в мое отсутствие дядей, братьев отца. Запах влажной земли смешался с воспоминаниями; рядом с могилой матери кто-то разбил кувшин, и я, глядя на осколки, отчего-то вдруг расплакался. Сам не знаю, что я оплакивал: то ли умерших, то ли себя самого, после стольких лет странствий непостижимым образом вновь оказавшегося в начале жизненного пути, – а может быть, наоборот, плакал я оттого, что чувствовал: путь этот подходит к концу. Пошел тихий снег. Я встал и двинулся прочь, глядя на кружащиеся в воздухе редкие снежинки и размышляя о том, что все в моей жизни так же случайно, как их полет; забрел в дальний угол кладбища и вдруг остановился, увидев, что из темноты на меня смотрит черная собака.

Я перестал плакать, вытер нос. Черная собака дружелюбно помахала мне хвостом, и я зашагал к выходу с кладбища. Потом отправился в свой старый квартал и снял там дом, в котором когда-то жил один мой родственник с отцовской стороны. Нынешняя хозяйка дома сказала, что я похож на ее сына, убитого в бою с армией Сефевидов. Мы договорились, что она будет прибираться в доме и готовить мне еду.

Потом я вышел прогуляться и долго бродил по улицам, словно не в Стамбул вернулся, а остановился на время в одном из арабских городов на другом краю света и хотел узнать, на что этот город похож. В самом ли деле улицы стали уже, или это просто мне показалось? На некоторых улочках, тесных домами, словно бы пытающимися дотянуться друг до друга, мне приходилось то и дело прижиматься к стенам и дверям, чтобы пропустить навьюченных лошадей. В самом ли деле в городе стало больше богатых людей или это тоже мне показалось? Я видел такую роскошную карету, каких нет ни в Аравии, ни в стране персов: она была похожа на крепость, влекомую горделивыми конями. Рядом с Чемберлиташем я повстречал двух бесстыжих, вонючих нищих, одетых в тряпье и бредущих в обнимку с улицы Тавукпазары. Один из них был слеп; улыбаясь, смотрел он на падающий снег своими пустыми глазницами.

Если бы мне сказали, что раньше Стамбул был беднее и меньше, но счастливее, я бы, наверное, не поверил – но то же самое говорило мне и мое сердце. Ведь дом моей любимой,

⁴ Черный (тур.).

как и прежде, был окружен липами и каштанами, только вот когда я постучался в дверь, оказалось, что там живут другие люди. Мама моей любимой, моя тетя, умерла, а ее муж с дочерью переехали в другое место, причем, как рассказали мне новые жильцы, не подозревая, до чего больно их слова ранят мое сердце, им пришлось пережить немало несчастий. Я не буду сейчас говорить вам, что это были за несчастья, скажу только, что на ветвях лип висели сосульки длиной с мизинец и старый сад, который я помнил полным зелени и солнечного света, каким он бывал в жаркие летние дни, теперь, неухоженный и засыпанный снегом, наводил на мысли о смерти.

Впрочем, о том, какие несчастья случились с моими родственниками, я уже отчасти знал из письма мужа моей тети, которое он написал мне в Тебриз. В этом письме он звал меня в Стамбул; извещал, что готовит для султана тайную книгу и хочет, чтобы я ему помог. Он слышал, что в Тебризе мне случалось заказывать книги для османских пашей, наместников и книголюбцев из Стамбула. И правда, я заказывал книги: взяв у покупателя деньги вперед, находил в Тебризе художников и каллиграфов, пребывающих в бедственном положении из-за войн и притеснений со стороны османских военных, но не уехавших еще в Казвин или какой-нибудь другой персидский город, поручал этим большим мастерам, страдающим от безденежья и равнодушия к их искусству, писать книгу, украшать ее иллюстрациями и переплетать, а потом посылал ее в Стамбул. Занимался я этим только потому, что, когда я был юн, дядя привил мне любовь к рисункам и красивым книгам.

На улице, где когда-то жил Эниште⁵ (я всегда так называл тетиного мужа), на том ее конце, что выходит к рынку, стояла, как прежде, цирюльня – те же зеркала, бритвы, кувшины, связки кусков мыла. И цирюльник был тот же самый. Мы встретились с ним глазами, но я не уверен, что он меня узнал. Кувшин с горячей водой для мытья головы, покачивающийся взад-вперед на свисающей с потолка цепи, совершал все то же дугообразное движение, что и много лет назад, – увидев это, я немного повеселел.

Некоторые кварталы и улицы, по которым я ходил в юности, за двенадцать лет повывортели, превратились в дым и золу; на местах, где стояли дома, теперь были пепелища, по которым лучше не ходить, если не хочешь повстречать злобных бродячих собак или какого-нибудь сумасшедшего – из тех, которых так боятся дети. А кое-где выросли особняки, своим богатством поражающие приехавших издалека людей вроде меня. У некоторых из них окна застеклены были очень дорогим разноцветным венецианским стеклом. Кроме того, заметил я, за двенадцать лет, что меня не было в Стамбуле, здесь появилось много богатых двухэтажных домов, вторые этажи которых нависали над высокими оградами.

Как и во многих других городах, деньги в Стамбуле потеряли теперь всякую стоимость. В пекарнях, где до моего отъезда на Восток за один акче можно было купить огромный хлеб весом в четыреста дирхемов⁶, теперь за ту же цену продавали хлебец вдвое меньшего размера, никак не напоминавший вкусом тот, что я ел в детстве. Если бы покойная мама увидела, что за дюжину яиц нужно отсчитать три акче, то сказала бы, что пора бежать в другие края, пока куры, совсем обнаглев, не принялись гадить нам на головы. Я, впрочем, знал, что деньги обесценились повсюду. Поговаривали, что торговые суда, приплывающие из Голландии и Венеции, полны сундуками с поддельными монетами. Если раньше на монетном дворе из ста дирхемов серебра чеканили пятьсот акче, то теперь, из-за бесконечных войн с Сефевидами, стали чеканить восемьсот. Когда янычары, обронив в Золотой Рог несколько акче из полученного жалования, увидели, что монеты плавают по воде, будто сухая фасоль, просыпавшаяся в море при погрузке на корабль, они подняли бунт и осадили дворец султана, словно вражескую крепость.

⁵ Муж родственницы (тур.).

⁶ Дирхем – мера веса, равная 3,12 г.

В эти дни бесстыдства, дороговизны, убийств и грабежей приобрел известность проповедник Нусрет, подвизавшийся при мечети Баязида и утверждавший, что происходит из рода пророка Мухаммеда. Проповедник этот, приехавший, как говорили, из Эрзурума, объяснял все беды, постигшие Стамбул в последние десять лет: пожары в Бахчекапы и квартале Казанджылар; вспышки чумы, каждый раз уносящие десятки тысяч жизней; войны с Сефевидами, которые все никак не закончатся, несмотря на бесчисленные людские потери; восстания христиан, отбивающих небольшие османские крепости на Западе, – тем, что мы свернули с пути пророка Мухаммеда и позабыли заповеди Корана, что дервиши в своих текке⁷ играют на музыкальных инструментах, а терпимость к христианам дошла до того, что в городе свободно торгуют вином.

Торговец соленьями, взволнованно поведавший мне о проповеднике из Эрзурума, говорил и о деньгах: по его словам, все эти наводнившие рынки поддельные монеты, новые венецианские дукаты, поддельные флорины со львами да акче, в которых серебра все меньше и меньше, подталкивают человека к пучине полного разврата – точь-в-точь как заплонившие улицы черкесы, абхазы, мингрелы, босняки, грузины и армяне. Развратники и мятежники, говорил он, собираются в кофейнях и до утра чешут языками. Голодранцы с темным прошлым, накурившиеся опиума безумцы и недобитки из календерийе⁸ до рассвета пляшут в текке, уверяя, что это и есть путь Аллаха, тычут туда-сюда железными штырями, творят всякие непотребства и совокупаются друг с другом и с маленькими мальчиками.

А потом то ли услышал я нежный напев уда⁹, позвавший меня за собой, то ли мне стало не по себе от ядовитых речей торговца, и мой смятенный разум, переполненный воспоминаниями и желаниями, указал мне путь к спасению, – не знаю. Знаю я вот что: если вы любите город, если много ходили по нему, то через годы подобных хождений его улицы становятся так хорошо знакомы не только вашей душе, но и телу, что в минуту грусти, когда в воздухе печально кружит снег, ноги сами выведут вас на любимый холм.

Вот и я, уйдя с Кузнечного рынка, поднялся к мечети Сулейманийе. Стоя рядом с мечетью, я смотрел, как снег падает на Золотой Рог и окрестности; он уже прикрывал те стороны крыш и куполов, что были обращены к пойразу¹⁰. Хлопали на ветру, словно приветствуя меня, спускающиеся паруса заходящего в порт судна; цвет парусов был такой же, как у воды залива, – туманно-свинцовый. Кипарисы, чинары и крыши, вечерняя печаль, уличный шум, доносящийся из кварталов ниже по склону, крики торговцев и голоса играющих во дворе мечети детей – все это слилось в моей голове воедино, и я понял, что больше уже не смогу жить нигде, кроме моего города. На какое-то мгновение мне показалось, что еще чуть-чуть – и я увижу забытое много лет назад лицо возлюбленной.

Я спустился вниз по склону и смешался с толпой. После вечернего азана¹¹ зашел в пустую лавку торговца жареной печенкой и как следует наелся, внимательно слушая рассказы хозяина, который кормил меня, словно кошку, с нежностью глядя на поедаемые мной кусочки. А говорил он об одной кофейне, и услышанное возбудило во мне такое любопытство, что я попросил рассказать, как туда добраться, и, выйдя на улицу, где совсем уже стемнело, свернул в узкий проулок за Невольничьим рынком.

В кофейне было жарко, народу много. У очага на возвышении расположился рассказчик-меддах – я видел таких в Тебризе и других персидских поселениях, только там их называют пердедарами. Рядом с собой он повесил лист грубой бумаги, на котором небрежно, но

⁷ Текке – дервишская обитель.

⁸ Календерийе – дервишский тарикат (орден), который власти Османской империи в XVI в. подвергли преследованиям и запретили.

⁹ Уда – струнный щипковый инструмент.

¹⁰ Пойраз – северо-восточный ветер.

¹¹ Азан – призыв к молитве.

мастерски была нарисована собака, и вел рассказ от ее, собаки, лица, время от времени указывая рукой на рисунок.

3. Я – собака

Как видите, зубы у меня такие острые и длинные, что еле помещаются в пасти. Я знаю, что из-за этого у меня устрашающий вид, но мне это нравится. Один мясник как-то раз, взглянув на мои зубы, сказал: «Да это не собака, а свинья какая-то!» Я его так куснула, что почувствовала остриями клыков твердую кость под жирным мясом ляжки. Для собаки нет большего наслаждения, чем в искренней злобе и ярости запустить зубы в плоть гнусного врага. Когда мне выпадает такая возможность, когда моя жертва, заслуживающая того, чтобы быть покусанной, беспечно проходит мимо, у меня от удовольствия темнеет в глазах, зубы начинают тихонько ныть, во рту словно бы появляется оскомина, а из глотки помимо моей воли рвется пугающее вас рычание.

Да, я собака, и вы, не будучи столь же разумными существами, спрашиваете: разве собаки могут разговаривать? А сами при этом, похоже, верите в истинность историй, в которых говорят мертвецы, а герои произносят слова, которых знать не знают. Собаки разговаривают – но только с теми, кто умеет слушать.

Давным-давно в тридевятиом государстве, в самой его столице, была большая мечеть – назовем ее мечетью Баязида. И вот однажды явился в эту мечеть начинающий проповедник из далекого города. Настоящее его имя, наверное, называть не стоит – пусть будет ходжа¹² Хусрет, – но больше не солжем ни словом: недалекого ума был этот проповедник. Однако пусть и был он обделен умом, зато язык у него, хвала Аллаху, был подвешен лучше некуда. Каждую пятницу он так распалил собравшихся в мечети, что те начинали рыдать, а некоторые даже лишались чувств. Только не думайте, что и сам он, как многие другие красноречивые проповедники, пускал слезу: напротив, когда все рыдали, он и бровью не вел и еще суровой обличал внимавших ему. Надо полагать, из-за любви к обличениям все торговцы халвой и овощами, дворцовые стражи, простонародье и даже многие проповедники стали верными рабами этого человека. А тот, не будучи, разумеется, собакой, был истинным сыном человеческим: восхищение толпы сильно вскружило ему голову, а потом он обнаружил, что стращать людей не менее приятно, чем заставлять их плакать, да и заработать на этом можно больше.

И вот, совсем потеряв чувство меры, начал он вещать: «Единственная причина дороговизны, чумы, поражений в войнах заключается в том, что мы забыли ислам времен Пророка, стали верить иным книгам и всякой лжи, решив, что это и есть ислам. Разве во времена Пророка молились за умерших? Разве отмечали сорок дней после смерти, раздавая халву и сладкие пирожки за упокой души? Разве во времена Мухаммеда читали священный Коран нараспев да на разные лады? Разве принято было, забравшись на минарет, упиваться своим голосом и жеманничать, словно играя женскую роль: слушайте, мол, как точно выговариваю я арабские слова, как я изящно выпеваю азан! Мусульмане ходят на кладбища молиться мертвым, ждут от них помощи, припадают к камням гробниц, словно идолопоклонники, загадывают желания и привязывают ленточки, дают обеты! Разве были во времена Пророка тарикаты, которые учат подобному? Их любимый наставник Ибн Араби – грешник, клявшийся, что фараон перед смертью уверовал в Аллаха. Члены тарикатов мевлеви, хальветийе, календерийе, все те, кто читает священный Коран под музыку и танцует с мальчиками, уверяя, будто так молится, – просто-напросто неверные. Текке нужно разрушить, а землю, на которой они стояли, срыть на семь аршинов и выбросить в море – только тогда там можно будет совершать намаз!»

Еще больше распалившись, ходжа Хусрет кричал, брызжа слюной: «Эй, правоверные, пить кофе – грех! От него разум впадает в оцепенение, в желудке образуются язвы, а в позвоночнике – грыжа; и еще он вызывает бесплодие. Наш Пророк знал все это и не пил кофе, пони-

¹² Ходжа – духовное лицо; человек, получивший образование в медресе (мусульманской школе).

мая, что это выдумка шайтана. Мало того, в наши дни кофейни стали пристанищем бездельников и падких на развлечения богачей – в тамошней тесноте творятся всяческие непотребства. Кофейни нужно закрыть даже раньше, чем текке! Разве у бедняков есть деньги, чтобы пить кофе? Люди идут в кофейню, наливаются там кофе по самые брови и до того теряют соображение, что начинают верить, будто с ними разговаривает собака; а та хулит меня и нашу религию – чего еще от собаки ждать!»

Если позволите, мне хотелось бы ответить на последние слова проповедника-эфенди. Вам, конечно, известно, что все эти хаджи¹³, ходжи, проповедники и имамы очень не любят нас, собак. Мне кажется, это связано с историей о том, как пророк Мухаммед, не желая будить спящую кошку, отрезал край своей одежды, на котором она прикорнула. С нами так учтиво, как с этой кошкой, не поступали, а поскольку даже самый глупый и неблагодарный потомок Адама знает, что у нас с кошками вечная вражда, то и принято считать, будто Посланник Божий не любил собак. Из-за этого-то злонамеренно неверного толкования нас не пускают в мечети, чтобы мы не нарушили чистоту омовения, и служители уже сотни лет быют нас во дворах мечетей метлами.

Позвольте же напомнить вам одну из самых красивых сур Корана, которая называется «Аль-Кахф» («Пещера»). Не потому, что я считаю, будто в этой прекрасной кофейне собрались невежи, не читавшие Священную Книгу, а просто чтобы немного освежить ее в вашей памяти. В этой суре рассказывается о семерых юношах, которым надоело жить среди идолопоклонников. Они спрятались в пещере и уснули. Аллах же запечатал им уши и сделал так, что они проспали целых триста лет и еще девять. Когда они проснулись, один из них пошел в город и, увидев, что его деньги уже не имеют хождения, понял, что проспали они много лет; юноши были этим весьма удивлены. И не мне вам напоминать, что в восемнадцатом аяте этой суры, говорящей о верности человека Аллаху, о Его чудесах, о том, как мимолетно время и сладок глубокий сон, упоминается собака, лежащая у входа в ту знаменитую пещеру, где спали семеро юношей. Разумеется, каждый будет гордиться, если он упомянут в Коране. Вот и я, будучи собакой, горжусь и надеюсь, что эта сура, дай бог, вразумит эрзурумцев, называющих своих врагов бесхвостыми псами.

Какова же в таком случае настоящая причина нелюбви к собакам? Почему вы называете собаку нечистым животным? Почему, если случится собаке зайти в ваш дом, вы спешите втроекратно вымыть его сверху донизу? Если человек, совершивший омовение перед молитвой, дотронется до собаки, ему нужно омыться заново. Если край вашей одежды слегка коснется влажной собачьей шерсти, вы, словно пугливые глупые женщины, требуете, чтобы ее семь раз выстирали, – почему? А если пес лизнет кастрюлю, то ее нужно или выбросить, или заново лудить, – по-моему, такое могли придумать только лудильщики. Или, может быть, кошки.

Когда люди, перестав кочевать и возделывать поля, перебрались в города, пастушеские собаки остались в деревнях – тогда-то нас и стали называть «нечистыми». В доисламские времена один из двенадцати месяцев был месяцем собаки, а теперь мы, видите ли, приносим несчастье. Впрочем, друзья, не хочу огорчать вас, пришедших сюда этим вечером, чтобы послушать несколько интересных историй, рассказами о своих горестях. Злюсь я не на вас, а на проповедника-эфенди, который так яростно набрасывается на кофейни.

Если я скажу, что никому не ведомо, кем был отец этого Хусрета из Эрзурума, что я услышу в ответ? «Ах ты, псина этакая! Твой хозяин, меддах, повесил в кофейне рисунок и рассказывает всякие байки, вот ты, чтобы его защитить, и порочишь проповедника-эфенди». Боже упаси, никого я не порочу. Я очень люблю наши кофейни. Знаете, меня вовсе не огорчает, что я собака или что я нарисована на такой дешевой бумаге, – а вот то, что я не могу сесть рядом с вами и выпить кофе, как человек, огорчает. Мы, собаки, умереть готовы за кофе и

¹³ Хаджи – мусульманин, совершивший хадж, паломничество в Мекку.

кофейни. А он... Ой, смотрите, мой хозяин подносит мне джезvu с кофе. Не спрашивайте, может ли нарисованная собака пить, – видите, как я жадно лакаю?

Вот спасибо! Нутро мое согрелось, в глазах прояснилось, в голове тоже – и вот послушайте, что мне вспомнилось. Знаете ли вы, что подарил венецианский дож дочери нашего правителя Нурхайат-султан, кроме тюков китайского шелка и китайских ваз, расписанных цветами? Жеманную европейскую собачку с шерстью мягкой, как шелк или соболий мех. Она была такая изнеженная, эта собачка, что носила одежду из красного шелка, и без этой одежды она даже совокупляться не могла – это мне известно от одного моего приятеля, который ее обольстил. Собственно говоря, в этой европейской стране все собаки ходят в одежде. Рассказывают, одна утонченная европейская дама, увидев пса без одежды – а может быть, обратив внимание на его причинное место, – воскликнула: «Ах, животное голое!» – и упала в обморок.

Между прочим, в краю европейских гяуров у каждой собаки есть хозяин. Несчастным псам надевают на шею цепь и так водят по улицам, словно жалких рабов. А потом люди насильно затаскивают бедняг в свои дома и даже заставляют их спать в своих постелях. Одна собака с другой не то что обнюхаться и поношаться – даже прогуляться рядышком и то не может. Когда эти закованные в цепи бедолаги встречаются на улице, они лишь издали провожают друг друга печальным взглядом, вот и все. Гяуры и представить себе не могут, что в Стамбуле собаки свободно бродят стаями по улицам, что у нас нет хозяев и повелителей и, если надо, мы можем преградить дорогу кому угодно; что мы справляем нужду где пожелаем и кусаем кого вздумается; хотим – греемся на солнышке, хотим – сладко спим в тени. Не поэтому ли, хотелось бы знать, почитатели эрзурумца не желают, чтобы добрые люди с молитвой разбрасывали собакам мясо на улицах Стамбула и жертвовали на это деньги? Я об этом не раз размышляла. Ежели ими движет не только неприязнь к собакам, но и желание уподобиться гяурам, то, скажу я вам, вражда к собачьему племени и есть не что иное, как самое настоящее гяурство. Надеюсь, недалек тот день, когда этих негодяев казнят и наш приятель-палач пригласит нас отведать их мяса – так ведь иногда поступают с телами казненных в назидание другим.

Вот что я скажу напоследок: мой предыдущий хозяин был человеком очень справедливым. Когда он по ночам выходил на грабеж, мы с ним делили обязанности: пока он резал горло своей жертве, я лаяла, чтобы никто не слышал криков. За это он варил и давал мне мясо убитых им негодяев, а я ела. Не люблю сырое мясо. Надеюсь, палач, который казнит проповедника из Эрзурума, это учтет и мне не придется портить желудок, поедая мясо этого поганца сырым.

4. Меня назовут убийцей

Если бы мне сказали, хотя бы и перед самым убийством этого дурачка, что я смогу отнять жизнь у человека, – не поверил бы. Поэтому сейчас содеянное порой представляется мне словно бы чужестранным галеоном, потихоньку уплывающим за горизонт. А иногда я чувствую себя так, будто и не совершал никакого преступления. С тех пор как я, сам того не желая, прикончил несчастного собрата своего Зарифа, прошло четыре дня, и я уже успел привыкнуть к тому, что стал убийцей.

Мне бы очень хотелось, чтобы ужасный вопрос, вставший передо мной, можно было бы решить, не убивая, – но я быстро понял, что другого пути нет. И тогда я немедленно покончил с этим делом, взял на себя всю ответственность. Не позволил клевете одного-единственного глупца навлечь угрозу на всех нас, художников.

И все-таки очень трудно привыкнуть к мысли, что ты – убийца. Дома не усидеть, но и за стенами моего жилища нет мне покоя, и я хожу с одной улицы на другую, с одной на другую, заглядываю в лица и вижу, что многие люди считают себя невинными – просто потому, что им ни разу еще не представилась возможность совершить преступление. Трудно поверить, что из-за такой ничтожной прихоти судьбы большинство людей оказывается нравственнее или просто лучше меня. Из-за того что они пока никого не убили, лица у них глуповатые, и потому они, как все глупцы, выглядят людьми добропорядочными. Четырех дней хождений по стамбульским улицам после убийства того бедолаги хватило мне, чтобы понять: всякий, у кого в глазах светится ум, а на лице лежит тень душевных переживаний, на самом деле – убийца. Невинны одни лишь дураки.

Вот, например, сегодня вечером, когда я согревался горячим кофе в кофейне за Невольничьим рынком и хохотал вместе со всеми над речами нарисованной собаки, я вдруг почувствовал, что сидящий рядом со мной – такой же убийца, как я. Пусть он, подобно мне, смеялся над рассказом меддаха, я тут же понял – то ли по тому, как по-братски его рука лежала рядом с моей, то ли по дрожи пальцев, вцепившихся в чашку, – что мы с ним одной породы. Внезапно обернувшись, я посмотрел ему прямо в лицо. Он сразу смутился, лицо перекошилось от испуга. Когда разносили кофе, один его знакомый сказал ему, потянув за рукав: «Ну все, теперь сторонники ходжи Нусрета точно разгромят кофейню». Он взглядом велел тому замолчать. Их страх заразил и меня. Никто никому не доверяет, каждый ежеминутно ждет от ближнего какой-нибудь подлости.

На улице еще сильнее похолодало, на земле у стен и в углах уже скопилось изрядно снега. В кромешной темноте я могу идти по узким улочкам только на ощупь. Порой бледный свет еще не погашенной свечи все же проникнет сквозь плотно закрытые черные деревянные ставни какого-нибудь дома и отразится на снегу; но обычно я не вижу ровным счетом ничего и нахожу дорогу, прислушиваясь к ударам колотушек, которыми ночные сторожа стучат по камням, к вою диких собачьих стай да к звукам, доносящимся из домов. Бывает, в глубокой ночи узкие, жутковатые улицы озаряются удивительным сиянием, исходящим словно бы от самого снега, и тогда мне кажется, что во мгле, среди деревьев и развалин, я вижу призраков, чье присутствие сотни лет накладывает на Стамбул зловещий отпечаток. А иногда из домов доносится шум, производимый беспокойными, несчастными людьми: кто надрывно кашляет, кто шмыгает носом, кто плачет во сне; или муж с женой вцепляются друг другу в глотки, а рядом ревут их дети.

Пару вечеров я заходил в эту кофейню, чтобы послушать меддаха, повеселиться и вспомнить, каким счастливым я был, прежде чем стал убийцей. Многие братья-художники, среди которых прошла вся моя жизнь, приходят сюда каждый вечер. Но с тех пор как я погубил одного из них, этого дурачка, с которым мы вместе рисовали еще в детстве, я не хочу их видеть.

Многое смущает меня и в здешнем духе постыдного веселья, и вообще в жизни моих собратьев, которые, увидев друг друга, не могут обойтись без обмена сплетнями. Чтобы на мой счет не язвили, называя высокомерным, я тоже сделал для меддаха несколько рисунков, но не думаю, что из-за этого мне перестанут завидовать.

Впрочем, они завидуют мне не зря. Ведь никто лучше меня не умеет смешивать краски, размечать страницу, выбирать сюжет, рисовать лица; нет мне равных в изображении сцен войны и охоты, животных, султанов, кораблей, коней, воинов, влюбленных. В моих рисунках живет поэзия, и заставки я тоже делаю лучше прочих. Я вам это рассказываю не затем, чтобы похвастаться, а чтобы вы меня лучше поняли. Со временем зависть становится такой же неотъемлемой составляющей жизни художника, как краска.

Бывает, что во время хождений, постепенно уводящих меня от тревоги и смятения, я встречаюсь взглядом с каким-нибудь добрым и простодушным единоверцем – и вдруг меня пронзает странная мысль: стоит мне сейчас подумать, что я убийца, и встречный прочтет это на моем лице.

И я сразу заставляю себя остановиться мыслями на чем-нибудь другом, точь-в-точь как в юношеские годы, когда во время намаза, сгорая от стыда, приказывал себе не помышлять о женщинах. Но тогда, как я ни старался, у меня не получалось выгнать из головы мысли о совокуплении; теперь же мне удастся забыть о совершенном убийстве.

Вы, конечно, понимаете, что я рассказываю обо всем этом, чтобы вы поняли, в каком положении я нахожусь. Если я даже на секунду подумаю о чем-нибудь, вы прочтете мои мысли по моему лицу. И тогда из безымянного, безликого убийцы, бродящего среди вас, я превращусь в заурядного преступника, которого опознают, схватят и подвергнут наказанию. Так что уж позвольте, обо всем я думать не буду, кое-что приберегу для себя одного. Пусть хитроумные люди вроде вас, умеющие находить вора по его следам, попытаются уличить меня, изучая мои слова и рисунки. Кстати, это подводит нас к вопросу, о котором сейчас много рассуждают: есть ли – и должен ли быть – у художника свой, неповторимый стиль, свойственные только ему манера и голос?

Возьмем один рисунок Бехзада¹⁴, мастера из мастеров, падишаха художников, который я обнаружил в великолепной книге, сделанной девяносто лет назад в Герате и некогда находившейся в библиотеке одного персидского принца, убитого в безжалостной борьбе за престол. Прекрасный этот рисунок, весьма соответствующий моему нынешнему состоянию, ибо изображено на нем убийство, иллюстрирует историю Хосрова и Ширин. Вы, конечно, помните, чем кончается этот дестан – я имею в виду сочинение Низами¹⁵, а не Фирдоуси¹⁶.

После всех приключений и испытаний влюбленные женятся, но спокойной жизни им не видать, ибо Шируйе, молодой сын Хосрова от предыдущей жены, подобен шайтану: он желает сесть на отцовский престол и завладеть его женой. И он, этот Шируйе, о котором Низами говорит, что «изо рта у него шел скверный запах, как у льва», находит способ выполнить задуманное. Однажды ночью он проникает в комнату, где спят его отец и Ширин, в темноте на ощупь пробирается к кровати и вонзает кинжал в печень Хосрова. К утру отец истечет кровью и умрет рядом со спокойно спящей красавицей Ширин.

Рисунок великого мастера, как и сама эта история, многие годы внушал мне неподдельный страх. Глядя на него, я чувствовал ужас человека, просыпающегося посреди ночи в полной темноте и вдруг понимающего, что по комнате кто-то тихо крадется. А теперь представьте, что этот кто-то держит в одной руке кинжал, а другой хватает вас за горло! Искусно выписанные украшения на стенах, окне и рамке; завитки и круги на красном – одного цвета с рвущимся

¹⁴ [Кемаледдин] *Бехзад* (ок. 1455–1535/1536) – миниатюрист, крупнейший мастер гератской школы.

¹⁵ *Низами* [Гянджеви] (ок. 1141 – ок. 1209) – азербайджанский поэт, писавший на фарси.

¹⁶ [Абулькасим] *Фирдоуси* (ок. 940–1020 или 1030) – персидский и таджикский поэт.

из вашего сдавленного горла беззвучным криком – ковре; желтые и фиолетовые цветы, весело и с невообразимым искусством выписанные на дивном одеяле, которое топчет своей отвратительной босой ногой убийца, – все это подчинено одной цели: подчеркнуть красоту рисунка, на который вы смотрите, и при этом напомнить, как прекрасна комната, в которой вы умираете, и мир, который покидаете. Главное, что вы ощущаете, глядя на миниатюру, – то, что прекрасный рисунок и прекрасный мир равнодушны к вашей кончине и что в смерти вы совершенно одиноки, даже если рядом жена.

«Это Бехзад, – сказал двадцать лет назад старый мастер, вместе со мной разглядывавший рисунки в книге, которую я держал дрожащими руками, и лицо его озарилось – не от пламени свечи, а от восхищения. – Настолько очевидно, что нет нужды в подписи».

Сам Бехзад это знал и оттого не ставил свою подпись даже в самом укромном уголке рисунка. По мнению старого мастера, причиной тому отчасти было смущение и чувство стыда, ведь истинное искусство и мастерство заключаются в том, чтобы создать чудесное, несравненное произведение, но не оставить при этом ни единого следа, выдающего личность художника.

Свою несчастную жертву я, охваченный смятением и страхом, умертвил в весьма заурядном и грубом стиле. Когда я начал по ночам приходить на пепелище, чтобы выяснить, не осталось ли от моего произведения каких-нибудь следов, которые могли бы выдать личность автора, мысли о стиле стали роиться в моей голове пуще прежнего. Что такое стиль, о котором все твердят, как не ошибка, приводящая к тому, что мы оставляем след, выдающий нашу личность, там, где не надо?

Даже если бы не было так светло от падающего снега, я все равно нашел бы это место: вот оно, пепелище, где я убил человека, с которым был дружен двадцать пять лет. Снег укрыл все следы, которые могли бы показаться моей подписью, – ничего не осталось. И это доказывает, что Аллах придерживается тех же воззрений на стиль и подпись, что я и Бехзад. Если бы мы, как утверждал четыре ночи назад этот болван, совершили непростительный грех, когда рисовали миниатюры к книге, Аллах не проявил бы о нас, художниках, такой заботы.

В ту ночь, когда я пришел на пепелище вместе с Зарифом, снега еще не было. Издалека доносился собачий вой.

– Зачем мы сюда пришли? – спрашивал несчастный. – Что ты хочешь мне здесь показать в такое позднее время?

– Вон там, впереди, – колодец, – ответил я. – В двенадцати шагах от него закопаны деньги, которые я копил много лет. Если ты никому не расскажешь то, о чем я тебе говорил, мы с Эниште-эфенди тебя отблагодарим.

– Значит, ты признаешь, – выпалил он, – что с самого начала сознавал, что делаешь?

– Признаю, – соврал я. А что мне было делать?

– Знаешь ли ты, какой большой грех – то, что вы сейчас рисуете? – простодушно спросил он. – Это же безбожие и кошунство, на какое никто не отважится. Гореть вам в самой глубине преисподней! Ваши муки и страдания никогда не кончатся. А ведь вы и меня втянули в это дело!

Слушая эти слова, я с ужасом понял, что очень многие им поверят. Почему? Потому что в них была такая убедительность и сила, что люди волей-неволей исполнятся любопытства и захотят узнать всю подноготную. Слухи такого рода об Эниште-эфенди уже ходили, и причиной тому была таинственность, окружавшая подготовку книги, и хорошие деньги, которые он платил за рисунки к ней. Кроме того, главный художник, мастер Осман, ненавидит его. Мне уже приходила в голову мысль: а не осознанно ли мой собрат решил схитрить и подмешать к правде ложь? Насколько он искренен?

Я попросил его еще раз высказать те мысли, из-за которых между нами прошла трещина. Он не стал отнекиваться. Говорил он точь-в-точь как в годы ученичества, когда, бывало, просил скрыть какую-нибудь нашу провинность, чтобы избежать побоев мастера Османа. Я пове-

рил в его искренность. В юности, когда он хотел меня в чем-нибудь убедить, тоже смотрел вот так, широко открытыми глазами – только в те годы они еще не сузились от постоянного вырисовывания заставок. И я совсем не хотел чувствовать прежнюю привязанность к этому человеку, который готов был выдать нашу тайну.

– Послушай, – сказал я ему с деланой беспечностью. – Мы выполняем заставки, украшаем поля, покрываем страницы блестящей позолотой. Мы рисуем самые красивые миниатюры, расписываем шкафы и сундуки, чтобы они выглядели веселее. Этим мы занимаемся много-много лет. Это наше ремесло. Нам заказывают рисунок и говорят: поместите в эту рамку корабль, газель, падишаха; птиц нарисуйте так, людей этак, а здесь пусть будет такая-то сцена. И мы выполняем заказ. Один раз Эниште-эфенди сказал мне: нарисуй-ка здесь лошадь – так, как тебе захочется. И я три дня рисовал лошадей – сотни, – как это делали великие мастера прошлого, чтобы понять, какую именно лошадь мне хочется изобразить.

Я достал набросок, сделанный мной на грубой самаркандской бумаге, чтобы набить руку, и показал Зарифу. Тот загорелся любопытством, взял лист и, приблизив его к глазам, стал рассматривать черно-белых лошадей в бледном лунном свете.

– Старые мастера из Шираза и Герата, – сказал я, – говорили: если художник желает сделать истинный рисунок лошади – то есть нарисовать ее такой, какой видит ее Аллах, – он должен неустанно рисовать лошадей пятьдесят лет, – и прибавляли, что самый лучший рисунок лошади можно сделать только в темноте. Ведь настоящий художник за пятьдесят лет работы теряет зрение. Его рука сама помнит, как нужно рисовать лошадь.

Зариф увлекся рассматриванием моих лошадей; на лице у него появилось знакомое мне с детства невинное выражение.

– Нам дают заказ, и мы стараемся нарисовать самую совершенную лошадь, как это делали старые мастера, вот и всё. После того как заказ выполнен, несправедливо считать нас в чем-либо виноватыми.

– Не знаю, правильно ли так считать, – засомневался Зариф. – На нас тоже лежит ответственность, ведь и у нас есть своя воля. Я никого не боюсь – только Аллаха. А Он дал нам разум, чтобы мы могли отличать хорошее от дурного.

Уместный ответ.

– Аллах все видит и все знает, – сказал я по-арабски. – Он поймет, что ты, я, мы сделали это, не ведая, что творим. Кому ты донесешь на Эниште-эфенди? Разве ты не веришь, что эта работа делается по велению самого султана?

Зариф молчал.

«Неужели у него такие куриные мозги? – подумал я. – Или и впрямь страх перед Аллахом лишил его способности спокойно рассуждать, вот он и несет вздор?»

Мы остановились у колодца. На какое-то мгновение я поймал в темноте его взгляд и понял, что ему страшно. Мне стало его жаль. Но дороги назад уже не было. Я молил Аллаха, чтобы мой спутник еще раз доказал, что он не только безмозглый трус, но и подлец.

– Отсчитай двенадцать шагов и копай, – сказал я.

– А что будет потом?

– Я расскажу все Эниште-эфенди, и он сожжет рисунки. Что нам еще делать? Если последователи Нусрета-ходжи обо всем узнают, то и с нами разделаются, и мастерскую разгромят. У тебя есть среди них знакомые? Если ты возьмешь деньги, мы поверим, что ты не донесешь на нас.

– А деньги в чем лежат?

– В старом кувшине для солений. Семьдесят пять венецианских золотых дукатов.

Ладно еще венецианские дукаты, но кувшин-то для солений откуда взялся? Это было так нелепо, что прозвучало убедительно, и я поверил, что Аллах на моей стороне, ибо друг моих

ученических лет, с возрастом становившийся все более жадным до денег, начал отсчитывать двенадцать шагов.

В голове у меня в тот миг было вот что: никаких венецианских золотых-то ведь нет! А если этот подлый дурак не получит денег, он же нас погубит! На мгновение мне захотелось, как давным-давно, обнять его и расцеловать – но годы так отдалили нас друг от друга! А чем он рыть-то будет? Ногтями? Все эти мысли, если их можно назвать мыслями, пронеслись в моей голове в мгновение ока.

В смятении я обеими руками схватил лежащий у колодца большой камень. Зариф еще отсчитывал седьмой или восьмой шаг, когда я, подскочив к нему, со всей силы ударил его камнем по затылку. Камень опустился на голову так быстро и резко, что я вздрогнул, как от боли, словно удар пришелся по мне.

Однако я не хотел жалеть о том, что сделал, – нужно было поскорее закончить начатое, потому что Зариф бился на земле в таких корчах, что страшно было смотреть.

И только много позже того, как я сбросил тело в колодец, мне пришло на ум, что сделал я все слишком грубо, без изящества, приличествующего художнику.

5. Я – ваш Эниште

Для Кара я – эниште, но другие тоже меня так называют. Началось с того, что мать Кара захотела, чтобы он так ко мне обращался, а потом и для всех остальных это слово стало чем-то вроде моего имени. Кара впервые стал приходить к нам тридцать лет назад, когда мы поселились на краю Аксарая¹⁷, на прохладной улочке, утопающей в тени каштанов и лип. То был наш предыдущий дом. Летом я, бывало, сопровождал Махмуд-пашу в военные походы, а осенью, вернувшись в Стамбул, приглашал мать Кара с сыном пожить у нас. Покойница была старшей сестрой моей жены, ныне тоже покойной. Иногда, возвращаясь домой зимними вечерами, я видел, как они сидят, прижавшись друг к другу, и со слезами на глазах делятся своими горестями. Отец Кара преподавал в разное время в нескольких мелких, убогих медресе, нигде не задерживаясь подолгу: у него был скверный, неуживчивый характер, да к тому же он много пил. Кара в то время было шесть лет; он плакал, когда плакала мать, молчал, когда молчала она, и боязливо поглядывал на меня, Эниште.

Сегодня же я рад видеть перед собой зрелого, решительного, вежливого мужчину. Он почтительно поцеловал мне руку, подарил монгольскую чернильницу, сказав при этом: «Специально для красных чернил», и сел напротив, аккуратно сдвинув колени. Все это еще раз напомнило мне не только о том, что он стал тем серьезным взрослым человеком, каким мечтал стать, но и о том, что я сам, как и хотел, сделался теперь почтенным старцем.

Он похож на своего отца, которого я видел несколько раз: высокий, худой, жесты немного порывистые, но это ему идет. Сидит, положив руки на колени; когда я говорю что-нибудь важное, смотрит мне в глаза, показывая, с каким почтением слушает, и кивает головой в такт моим словам – все к месту, как и должно быть. Дожив до преклонных лет, я понял, что истинное уважение идет не от сердца, а от внимания к несложным правилам вежливости и от смирения.

В те годы, когда мать Кара, считавшая, что будущее ее сына – в нашем доме, при каждом удобном случае приводила его к нам, я заметил, что мальчику нравятся книги. Это нас сблизило, и он, по выражению домашних, стал моим подмастерьем. Я объяснял ему, как художники Ширази придумали новый стиль, подняв линию горизонта к самому краю рисунка; рассказывал, что все рисовали обезумевшего от любви к Лейле Меджнуна страдающим в пустыне, а великий мастер Бехзад изобразил его среди занятых своими делами женщин: они готовят еду, раздувают огонь в очаге, ходят среди шатров – а мы видим, и куда лучше, чем глядя на рисунки других художников, насколько все-таки ему одиноко. Я говорил, как смешны художники, которые, не читав стихов Низами, берутся изображать сцену, когда Хосров в полночь видит купающуюся в озере обнаженную Ширин, и раскрашивают коней и одежды влюбленных в любые цвета, какие взбредут им в голову, и прибавлял, что если художника настолько не занимает произведение, которое он собирается иллюстрировать, что он не может даже внимательно и вдумчиво его прочитать, то это значит одно: этот художник взял в руки кисть только лишь ради денег.

Теперь я с радостью вижу, что Кара усвоил еще одно важное правило: если не хочешь разочароваться в искусстве, не воспринимай его как свое ремесло. Какими бы замечательными ни были твои мастерство и способности, деньги и власть следует искать в других местах, и не надо обижаться на искусство, если ты не получишь должного вознаграждения за свой труд.

Кара рассказал, в какой нищете и безнадежности живут выдающиеся художники и каллиграфы в Тебризе, – со всеми ними он знаком, так как поручал им делать книги для пашей и богачей из Стамбула и вилайетов¹⁸. Не только в Тебризе, но и в Мешхеде, и в Халебе¹⁹

¹⁷ Аксарай – один из районов европейской части Стамбула.

¹⁸ Вилайет – название провинций в Османской империи.

многие художники, устав от безденежья и равнодушия к своему искусству, забросили книжную миниатюру и принялись изготавливать отдельные рисунки, чтобы поразвлечь европейских путешественников: изображают всякие нелепицы и непристойности. Он слышал, будто книгу, подаренную нашему султану шахом Аббасом²⁰ при подписании мирного договора, уже успели разъять на страницы и страницы эти используют для создания другой книги. А владыка Индии Акбар²¹ велел изготовить новую великую книгу и посулил за это такие безумные деньги, что самые блестящие художники Тебриза и Казвина, бросив все свои дела, поспешили в его дворец.

В рассказ о делах книжных Кара вставлял и другие истории: например, о похождениях одного лже-Махди²², или о том, как Сефевиды, желая добиться прочного мира, отдали узбекам в заложники слабоумного сына шаха, а тот вдруг заболел и через три дня скончался, что вызвало среди узбеков большой переполох. Рассказывая обо всем этом, Кара улыбался, но по лицу его пробегала тень, и я понимал, что тяжкое для нас обоих затруднение, о котором нам было непросто заговорить, никуда не исчезло.

В свое время, подобно всем молодым людям, вхожим в наш дом или просто знавшим о нашей семье по рассказам, Кара был влюблен в мою единственную дочь, красавицу Шекюре. По ней сохло множество людей, большинство из которых и в глаза ее не видели, так что я, может быть, не находил бы в этом особой опасности, – но Кара был вхож в наш дом, его у нас любили и привечали, он мог видеть лицо Шекюре, и оттого влюбленность превратилась в мучительную страсть. Он не сумел, как я надеялся, сохранить свою любовь в тайне и совершил ошибку – рассказал моей дочери о пожирающем его изнутри пламени.

После этого ему пришлось забыть дорогу в наш дом.

Думаю, Кара знает, что через три года после того, как он покинул Стамбул, моя дочь, которая тогда была в самом прекрасном для девушки возрасте, вышла замуж за сипахи²³, человека довольно легкомысленного. У них родилось двое сыновей, а потом сипахи ушел в военный поход, из которого не вернулся, – вот уже четыре года о нем нет никаких известий. Подобного рода слухи и сплетни в Стамбуле распространяются быстро, но дело даже не в этом: я по глазам Кара, по тому, как он смотрит на меня, когда мы на несколько мгновений замолкаем, догадываюсь, что ему уже давно все известно. Вот и сейчас, листая лежащую открытой на подставке «Книгу о душе»²⁴, он прислушивается, пытаясь уловить голоса бегающих по дому детей, – потому что знает: моя дочь с сыновьями вот уже два года как вернулась под отцовский кров.

О новом доме, который я построил, пока Кара не было в Стамбуле, мы не говорили. Очень может быть, что такому честолюбивому молодому человеку, как он, мечтающему разбогатеть и заслужить всеобщее уважение, кажется неудобным говорить о подобных вещах. Правда, едва он вошел, я еще на лестнице сказал ему, что перебрался на второй этаж, потому что там суше – от сырости у меня болят кости. При этом я испытывал некоторое смущение, но запомните мои слова: очень скоро двухэтажные дома смогут себе позволить и люди куда беднее меня, даже простые сипахи с самым скромным тимаром²⁵.

Мы сидели в комнате, которую зимой я использую как мастерскую для рисования, и я видел, что Кара чувствует: в соседней комнате находится Шекюре. Поэтому я сразу перешел к главному, к тому, о чем писал ему в Тебриз, вызывая в Стамбул.

¹⁹ *Халеб* (Алеппо) – город в Сирии.

²⁰ Аббас (1571–1629) – шах Ирана с 1587 г.

²¹ [Джелал-ад-Дин] *Акбар* (1542–1605) – правитель империи Великих Моголов с 1556 года.

²² *Махди* (араб. ведомый истинным путем) – мусульманский мессия, который должен явиться перед концом света и восстановить на земле справедливость.

²³ *Сипахи* – воины-всадники, своего рода дворяне Османской империи, жившие на доход с земельных участков или иной собственности, которую получали за службу.

²⁴ «Книга о душе» («Китаб ар-Рух») – сочинение исламского богослова Ибн аль-Кайима аль-Джаузи (ум. 1350).

²⁵ *Тимар* – земельное владение, которое сипахи получал из фонда государственных земель за несение воинской службы.

– Я начал готовить одну книгу, как это делал ты в Тебризе, когда заказывал работу каллиграфам и художникам, – сказал я. – Мой заказчик – наш султан, опора вселенной. Поскольку книга эта тайная, деньги на нее я получил тайно, через главного казначея. Я договорился с самыми лучшими художниками из дворцовой мастерской – с каждым особо. Поручил им нарисовать кому собаку, кому дерево, кому орнамент на полях, облака или лошадей. Мне хотелось, чтобы в этих рисунках был представлен весь мир нашего султана – как на картинах венецианских мастеров. Однако если для венецианцев главное – имущество и деньги, то эти рисунки, конечно, должны были отразить внутреннее богатство мира нашего султана, существующие в его вселенной радости и страхи. Если я просил нарисовать деньги, то лишь для того, чтобы принизить их значение; шайтана и Смерть – потому что мы их боимся. Не знаю уж, какие об этом ходят слухи. Я хотел, чтобы все: бессмертие деревьев, усталость лошадей, бесстыдство собак – в конечном счете говорило о нашем султани и о его мире. А четверым художникам, известным как Лейлек, Зейтин, Зариф и Келебек, я предложил выбирать предмет для рисунков самостоятельно. Даже в самые холодные и унылые зимние ночи кто-нибудь из дворцовых художников тайно приходил ко мне, чтобы показать сделанные для книги рисунки. Пока я не могу рассказать, что это были за рисунки и почему мы делали их именно такими, – но не потому, что хочу что-то от тебя скрыть. Дело в том, что, похоже, я и сам не совсем точно знаю, о чем они. Однако я знаю, какими они должны быть.

Я сам пригласил Кара к себе домой; о том, что он вернулся в Стамбул через четыре месяца после того, как я написал ему письмо, мне стало известно от цирюльника с нашей старой улицы. Я знал, что мой рассказ сблизит нас, ибо в нем есть горечь, но есть и обещание счастья.

– Каждый рисунок поясняет какой-нибудь рассказ, – продолжил я. – Художник, желающий украсить книгу, выбирает самые лучшие ее сцены. Первая встреча влюбленных. Храбрый Рустам отрубает голову страшному чудовищу. Рустам впадает в отчаяние, узнав, что убитый им незнакомец – его собственный сын. Меджнун, потерявший разум от любви, бродит в пустынной и дикой местности среди львов, тигров, оленей и шакалов. Искандер²⁶ перед боем отправляется в лес, чтобы по полету птиц узнать будущее, и огорчается, видя, как огромный орел разрывает его вальдшнепа... Когда мы читаем, наши глаза устают; глядя на рисунки, они отдыхают. Если нам не хватает силы разума и воображения, чтобы представить себе что-нибудь из описанного в книге, рисунок приходит на помощь. Рисунок нужен для того, чтобы расцвечивать рассказ, а без рассказа он не существует.

То есть так мне казалось, – прибавил я с ноткой раскаяния в голосе. – Оказывается, такие рисунки есть. Два года назад наш султан в очередной раз отправил меня посланником в Венецию. Находясь там, я использовал любую возможность, чтобы посмотреть на картины итальянских мастеров. Я не знал, какую историю и какую сцену из нее иллюстрирует та или иная из них, но пытался догадаться и додумать рассказ самостоятельно. А однажды на стене дворца я увидел такую картину, что замер напротив нее, не в силах сдвинуться с места.

Главным на ней было изображение человека – такого же, как я сам. Нет, не такого же – ведь это, конечно, был неверный. И все-таки, глядя на него, я чувствовал, что он похож на меня. Не внешне – внешнего сходства никакого. Лицо круглое, с мягкими чертами, скулы считай что нет, да и подбородок совсем не такой, как у меня. Ну совсем на меня не похож – но почему-то, когда я смотрел на эту картину, меня охватило такое волнение, словно это я был на ней.

У венецианского бея, который водил меня по своему дворцу, я узнал, что человек на том рисунке – один из его друзей, такой же, как и он, знатный господин. Рядом с собой тот велел изобразить все, что есть важного в его жизни: сквозь открытое окно за его спиной мы видим поместье, деревню и лес, который написан с такими искусными переходами тонов, что кажется, будто он настоящий. На столе перед ним – часы, книги, перо, карта, компас, шкатулки с золо-

²⁶ Так на исламском Востоке называли Александра Македонского.

тыми монетами, всякие странные штучки, о назначении которых я могу только догадываться, виденные мной и на других картинах; и среди всего этого – время, невзгоды, жизнь. Тут же тень шайтана, а рядом с отцом – прекрасная, как сон, дочь.

Для чего был сделан этот рисунок? Какой рассказ он должен был украсить и дополнить? Глядя на него, я понимал, что рассказ заключен в самом рисунке. Он не приложение к истории, он – сам по себе.

Картина, так поразившая меня, никак не шла из головы. Я вышел из дворца, вернулся в дом, в котором жил, и всю ночь после размышлял об этом рисунке. Мне тоже хотелось, чтобы меня так нарисовали. Но нет, я этого не достоин, так должен быть изображен наш султан! Нужно нарисовать его со всем, что ему принадлежит, со всеми вещами, в которых был бы выражен и показан его мир. «Можно сделать целую книгу таких рисунков», – подумал я.

Итальянский мастер так изобразил венецианского бея, что сразу понятно: на рисунке именно он, и никто иной. Даже если ты ни разу не видел этого человека, а тебе нужно найти его в толпе, с этим рисунком ты смог бы отыскать его среди тысяч людей. Итальянские мастера открыли способ изображать людей так, что их можно различать не по одежде и регалиям, а по лицу. Такой рисунок называется «портрет».

Если твое лицо нарисуют подобным образом хоть единожды, тебя никто никогда не забудет. Даже если ты будешь очень далеко, тот, кто посмотрит на портрет, почувствует, что ты рядом. И даже через много лет после твоей смерти те, кто не встречался с тобой при жизни, смогут увидеть тебя – так, словно ты стоишь перед ними.

Воцарилась долгая тишина. Я смотрел на маленькое окно, выходящее на улицу; нижние его ставни мы никогда не открываем, а верхнюю половину я недавно занавесил вошеной тканью. Сквозь занавеску пробивался свет, такой же зябкий, как воздух за окном.

– Среди художников, – снова заговорил я, – которые тайно приходили сюда, чтобы до утра работать над тайной книгой нашего султана, был один, который лучше всех делал заставки. Однажды ночью он вышел отсюда, но домой не вернулся. Бедный Зариф-эфенди! Боюсь, что его убили.

6. Я – Орхан

– Убили? – спросил Кара.

Кара был высокий, худой и немного страшный. Я как раз входил в комнату, когда дедушка сказал «убили» и увидел меня.

– Что это ты здесь делаешь?

Однако смотрел он по-доброму, поэтому я, не раздумывая, подошел к нему и взобрался на колени. Но он сразу меня ссадил.

– Поцелуй руку Кара.

Я поцеловал. Рука ничем не пахла.

– Какой славный, – сказал Кара и поцеловал меня в щеку. – Вырастет – львом будет.

– Это Орхан, ему шесть лет. У него есть старший брат Шевкет, тому семь. Упрямец, каких мало.

– Я заглядывал на вашу старую улицу в Аксарая, – сказал Кара. – Было холодно, все покрыто снегом и льдом, но такое впечатление, будто ничего не изменилось.

– Нет, все изменилось, все испортилось, и еще как! – ответил дедушка и повернулся ко мне. – Где твой брат?

– У мастера.

– А ты почему здесь?

– Мастер сказал, что я молодец, и отпустил.

– Ты что же, всю дорогу один шел? – спросил дедушка. – Тебя должен водить брат. – Потом он обернулся к Кара: – Два раза в неделю после школы Корана они ходят к одному моему другу, переплетчику, учатся у него ремеслу.

– А рисовать, как дедушка, любишь? – спросил Кара.

Я промолчал.

– Ладно, – сказал дедушка, – давай иди.

От мангала шло такое приятное тепло, что уходить не хотелось. Я на минутку задержался, вдыхая запахи красок и клея. Еще пахло кофе.

– Рисовать по-другому – не значит ли это и видеть по-другому? – говорил дедушка. – Потому-то бедняга и был убит. А он ведь рисовал заставки в старом стиле. Впрочем, я точно не знаю, убили его или нет, – но он пропал. Сейчас художники под началом мастера Османа работают над «Сурнаме»²⁷ для султана. Все трудятся дома, только мастер Осман – в дворцовой мастерской. Мне хотелось бы, чтобы ты первым делом сходил туда и увидел все собственными глазами. Я боюсь, что Зарифа мог убить кто-нибудь из других художников. Их все знают под прозвищами, которые много лет назад дал им главный художник: Келебек, Зейтин и Лейлек²⁸. Сходи к ним домой и поговори с ними.

Я попятился и спиной вперед вышел на лестницу. Из комнаты со стенным шкафом, где по ночам спала Хайрийе, послышался шорох, и я заглянул туда, но застал там не Хайрийе, а маму. Увидев меня, она смутилась. Мама стояла рядом с открытым шкафом.

– Где ты был?

Она знала, где я был. В задней стенке шкафа имелась дырочка, сквозь которую можно было увидеть дедушкину мастерскую, а если дверь мастерской открыта – то и коридор, даже дедушкину спальню – конечно, если и там тоже распахнута дверь.

– Я был у дедушки. Мама, а что ты здесь делаешь?

²⁷ «Сурнаме» – иллюстрированная книга, посвященная описанию торжественных процессий и церемоний.

²⁸ Эти прозвища переводятся как Мотылек, Маслина и Аист.

– Разве я тебе не говорила, чтобы ты не ходил к дедушке, пока у него гость? – сказала мама – строго, но не очень громко, потому что не хотела, чтобы нас услышал Кара. – Что они делали? – спросила она уже ласковым голосом.

– Сидели. Но не рисовали. Дедушка говорил, а гость слушал.

– А как он сидел?

Я тут же уселся на пол и изобразил гостя: смотри, мама, я очень серьезный человек, я нахмурил брови и слушаю дедушку, кивая вслед его словам, словно внимая молитве на похоронах.

– Спустись вниз, – велела мама, – и позови сюда Хайрийе. Быстро.

Она села, положила на колени письменную доску и стала что-то писать на маленьком листке бумаги.

– Мама, что ты пишешь?

– Ты что, не слышал? Быстрее иди вниз и позови Хайрийе.

Я пошел на кухню. Брат уже вернулся. Хайрийе положила ему на блюдо плова, приготовленного для гостя.

– Обманщик! – заругался брат. – Оставил меня с мастером, а сам ушел. Мне пришлось все листы одному сгибать. Видишь, все пальцы фиолетовые!

– Хайрийе, мама зовет.

– Вот поем и поколочу тебя, – пригрозил брат. – Поплатишься за свою лень и обман!

Когда Хайрийе вышла, он оставил недоеденный плов, вскочил и набросился на меня. Убежать я не успел. Он схватил мою руку и начал выкручивать.

– Не надо, Шевкет, больно!

– Будешь еще убежать с урока?

– Не буду!

– Поклянись!

– Клянусь!

– Поклянись Кораном.

– Клянусь!

Но он все равно меня не отпустил, а подтащил к столу, на котором был поднос, и поставил на колени. Он такой сильный! Одной рукой держит ложку и отправляет в рот плов, а другой пригибает меня к полу.

– Опять ты брата мучаешь! – упрекнула Шевкета Хайрийе. Она покрыла голову платком, собираясь выйти на улицу. – Оставь его в покое!

– А ты не вмешивайся, дочь пленного, – ответил брат, не отпуская моей руки. – Куда ты идешь?

– Лимонов куплю.

– Врешь, в шкафу полно лимонов.

Брат немного ослабил хватку, я вырвался, пнул его ногой, схватил подсвечник, чтобы им драться, но Шевкет налетел на меня и подмял под себя. Подсвечник упал, поднос перевернулся.

– Наказание господне! – послышался мамин голос. Она не стала кричать – гость мог услышать. Как она ухитрилась пройти по коридору и спуститься вниз, не попавшись на глаза Кара? Она разняла нас. – Позора с вами не оберетесь, паршивцы!

– Орхан сегодня соврал, – пожаловался Шевкет. – Оставил меня у мастера, а сам сбежал.

– Молчи! – Мама отвесила ему пощечину.

Ударил она не сильно, брат не заплакал, но надулся.

– Скорее бы вернулся отец! Он возьмет красную саблю дяди Хасана, мы уедем отсюда и снова будем жить у дяди.

– Молчи!

Мама вдруг так разозлилась, что схватила Шевкета за руку и потащила в чулан. Я пошел следом. Мама открыла дверь, увидела меня и сказала:

– Вдвоем будете здесь сидеть.

– Мама, я же ничего не сделал, – возразил я, но в чулан вошел.

Мама закрыла дверь. В чулане было не так уж темно: сквозь ставни окошка, выходившего к гранатовому дереву, пробивался слабый свет, но мне все равно стало страшно.

– Мама, открой, – заплакал я. – Мне холодно!

– Не реви, трус! – напустился на меня Шевкет. – Сейчас откроет.

Мама открыла дверь.

– Обещаете вести себя тихо, пока гость не уйдет? Хорошо, тогда сидите на кухне у очага, наверх не поднимайтесь.

– Нам там будет скучно, – насупился Шевкет. – Куда ушла Хайрийе?

– Все-то тебе надо знать.

В конюшне тихонько заржала лошадь, потом еще раз. Это был конь Кара, не дедушкин. Стало вдруг весело, как будто начинался ярмарочный день или праздник. Мама улыбнулась – так, словно хотела, чтобы мы улыбнулись тоже, подошла к конюшне, открыла дверь и произнесла:

– Тсс!

Потом вернулась и отвела нас в пропахшую маслом кухню, владение Хайрийе и мышей.

– Смотрите никуда отсюда не выходите, пока гость не уйдет. И не ссорьтесь, а то он подумает, что вы избалованные, невоспитанные дети.

– Мама, – заторопился я, пока она еще не успела закрыть дверь. – Мама, послушай: они говорили, что кто-то убил одного из дедушкиных художников.

7. Меня зовут Кара

Едва увидев сына Шекюре, я понял, что многие годы память неправильно рисовала мне ее образ. У Орхана – и у Шекюре – черты лица тонкие, а подбородок длиннее, чем мне казалось. Стало быть, рот у моей возлюбленной должен быть меньше, а губы уже, чем я представлял себе: за двенадцать лет странствий из города в город мое воображение увеличило рот Шекюре, губы стали пухлыми и блестящими, словно крупные вишни.

Будь у меня при себе портрет Шекюре, исполненный в манере итальянских мастеров, за все двенадцать лет ни разу я не почувствовал бы себя бесприютным и неприкаянным, не в силах вспомнить образ оставленной в Стамбуле любимой. Ведь если в сердце живет лицо возлюбленной, мир по-прежнему твой дом.

Когда я увидел сына Шекюре, поговорил с ним и поцеловал его в щеку, во мне тут же заворочалось беспокойство, вечный спутник несчастных людей, убийц и грешников. «Давай, иди и найди Шекюре», – подначивал меня внутренний голос.

На какое-то мгновение я подумал, что вот сейчас, ни слова не говоря Эниште, встану, выйду в коридор и буду открывать все двери – я успел краем глаза разобрать: пять их было, этих темных дверей, вместе с дверью на лестницу, – пока не найду Шекюре. Но однажды я уже поступил поспешно и необдуманно – и в итоге провел вдали от любимой двенадцать лет. Поэтому я тихо ждал и слушал Эниште, оглядывая подушки, на которых она наверняка не раз сидела, вещи, до которых она дотрагивается.

Эниште рассказал, что султан желает, чтобы книга была готова к тысячелетию Хиджры²⁹. Повелителю вселенной угодно показать, что в тысячный год исламского календаря он сам и его держава могут пользоваться приемами европейцев не хуже, чем те. Поскольку одновременно художникам велено было изготовить «Сурнаме», они должны были по воле правителя работать не в суе дворцовой мастерской, а у себя по домам. О том, что они тайно ходят к Эниште, он, разумеется, знал.

– Поговори с мастером Османом, – сказал Эниште. – Одни говорят, что он ослеп, другие – что выжил из ума. А по мне так, он и слеп, и глуп.

Неудивительно, что между ними пробежала кошка, ведь Эниште, собственно говоря, не был художником, он и рисовал-то не очень хорошо, однако султан поручил ему готовить книгу. Это не могло понравиться старому мастеру Осману.

Я стал разглядывать предметы обстановки, напоминавшие мне о детстве. За двенадцать лет я не забыл ни голубого килима из Кулы³⁰, ни этого медного кувшина, ни кофейного подноса, ни ковшика, ни кофейных чашек, которые, как любила с гордостью рассказывать покойная тетя, были привезены из самого Китая через Португалию. Все эти вещи, как и подставка для книг, инкрустированная перламутром, и полочка для кавука³¹ на стене, и подушка из красного бархата, которую я потрогал, чтобы вспомнить, какая она мягкая, – перекочевали сюда из дома в Аксарае, где мы с Шекюре провели детство, и на них до сих пор лежал отсвет тех дней, когда я был счастлив и рисовал.

Счастье и рисунок. Мне хотелось бы, чтобы читатель, не оставшийся равнодушным к моему рассказу, к моей печали, не забывал, что счастье и рисунок – отправные точки моего мира. Когда-то среди книг, перьев и рисунков я был очень счастлив – а потом за любовь меня изгнали из этого рая. В годы изгнания я часто думал о том, сколь многим обязан любви к Шекюре, – ведь это благодаря ей в юности я был так радостно открыт жизни и миру. В своей

²⁹ *Хиджра* – переселение пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 г., начало мусульманского летосчисления.

³⁰ *Килим* – безворсовый ковер. *Кула* – город на юго-западе Турции.

³¹ *Кавук* – головной убор, на который наматывается тюрбан.

детской наивности я не боялся, что моя любовь останется без ответа, я слишком сильно верил в лучшее, а оттого и мир казался мне прекрасным, и все в нем занимало меня: я жадно читал книги, которые советовал мне Эниште, с удовольствием учился в медресе, обожал рисовать. Однако в той же мере, в какой я обязан любви к Шекюре первой – солнечной, радостной и самой богатой – частью своих знаний о мире, другими, темными и отвратительными познаниями я обязан тому, что был отвергнут. Бывало, что, сидя ледяными ночами в комнатке очередного постоянного двора, я смотрел на гаснущие в очаге угли и желал, чтобы моя жизнь погасла вместе с ними; часто после утех плоти мне снилось, будто я вместе с лежащей рядом женщиной падаю в бездонную пропасть; меня грызла мысль о том, что я никчемный, никуда не годный человек... Все это – тоже благодаря Шекюре.

– Известно ли тебе, – после долгого молчания заговорил Эниште, – что после смерти душа может вернуться в наш мир и встретиться с душами тех, кто безмятежно спит в своей постели?

– Нет, – ответил я.

– После смерти нас ждет долгий путь, поэтому смерти я не боюсь. Боюсь другого – что умру, не закончив книгу для султана.

Я подумал, что теперь стал куда сильнее, крепче и разумнее Эниште; и еще почему-то из головы моей все не шла мысль о дорогом кафтане, который я купил, собираясь в гости к человеку, двенадцать лет назад отказавшемуся выдать за меня свою дочь, да о серебряной упряжи и расшитой седельной сбруе коня, которого я сейчас, спустившись по лестнице, выведу из конюшни.

Я пообещал Эниште рассказать все, что узнаю у художников, поцеловал ему руку, спустился по лестнице и вышел во двор. Холод взбодрил меня; я вспомнил, что уже не ребенок, но еще не старик, и с радостью ощутил в себе биение живой крови мира. Когда я закрывал дверь конюшни, подул ветер. Белый конь, которого я вел в поводу, вздрогнул вместе со мной. Его нетерпение, его необузданные силы я чувствовал и в себе. Едва выйдя на улицу, я готов был одним прыжком взлететь в седло и унести прочь по узким улочкам, словно удалец из сказки, пообещавший не возвращаться назад, но тут невеста откуда возникла здоровенная женщина с узлом в руке – еврейка, судя по розовой одежде. Она была большая и широкая, как шкаф, но в то же время проворная, бойкая и даже игривая.

– Голубчик мой, да ты и впрямь красавец, правду говорят! – сказала она. – Женат ты или холост, не купишь ли для тайной своей возлюбленной шелковый платочек у Эстер, самой знаменитой из стамбульских торговек?

– Нет.

– А пояс из красного атласа?

– Нет.

– Что ты заладил: «нет» да «нет»! Разве у такого молодца может не быть невесты или тайной зазнобы? Кто знает сколько она из-за тебя горьких слезок пролила?

Тут Эстер вдруг словно бы вытянулась, как изящный канатный плясун, и с поразительным проворством скользнула ко мне. В тот же самый миг в ее руке, словно у фокусника, ниоткуда появилось письмо. Я схватил его и сунул за пояс – таким быстрым и незаметным движением, словно многие годы готовился к этой минуте. Письмо было большое; оно сразу огнем прожгло мою кожу, холодную как лед.

– Садись на коня, пусть он идет шагом, – сказала торговка Эстер. – На углу поверни направо и езжай себе дальше, но, как поравняешься с гранатовым деревом, обернись и посмотри на дом, из которого вышел, – напротив тебя как раз будет окошко.

Сказала – и вмиг исчезла. Я забрался на коня, но с грехом пополам, словно новобранец, делающий это впервые в жизни. Сердце билось так, будто хотело выскочить из груди, в мыслях царил полное смятение, руки забыли, как держать поводья, но, когда ноги крепко сжали

бока коня, разум вернулся ко мне, и мы с умным моим скакуном, как и велела Эстер, шагом добрались до конца стены и свернули направо.

Сейчас я и вправду чувствовал себя красавцем, за которым, как в сказке, из-за каждой ставни наблюдают женщины. Во мне снова готов был разгореться прежний пожар. Этого ли я хотел? Опять отдаться недугу, который мучил меня столько лет? Среди облаков внезапно проглянуло солнце, и я совсем растерялся.

Где же гранатовое дерево? Вот это, печальное и чахлое? Да, оно! Я слегка повернулся в седле: окно прямо напротив, но оно закрыто ставнями. Старая карга обманула меня!

В этот самый миг обледеневшие ставни с треском распахнулись, и в окне, освещенном ярким солнцем, я увидел свою красавицу-возлюбленную, увидел сквозь заснеженные ветви ее прекрасное лицо, которое не являлось моему взгляду двенадцать лет. На меня ли смотрела моя черноглазая или сквозь меня, в какую-то другую жизнь? Я не смог понять, улыбалась ли она, грустила ли – а может быть, грустно улыбалась? Глупый конь, помедленнее, не пытайся догнать мое сердце! Я дерзко повернулся в седле и смотрел назад, пока прекрасное и таинственное лицо не пропало из виду, скрывшись за белыми от снега ветвями.

Уже потом, открыв письмо и увидев вложенный в него рисунок, я понял, до чего похожа наша встреча – я на коне, Шекюре у окна, и даже печальное дерево между нами – на тысячи раз рисованную сцену встречи Хосрова и Ширин. Словно герой одной из тех книг, которые так нравились нам с Шекюре, я сгорал от любви.

8. Меня зовут Эстер

Я знаю, вам всем не терпится узнать, что написано в том письме, которое я передала Кара. Мне тоже было любопытно, так что я все разузнала. Если хотите, представьте себе, что пролистали несколько страниц этого рассказа назад, – а я расскажу, что было до того, как я отдала Кара письмо.

Итак, сейчас вечер, мы с моим мужем Несимом, два старика, сидим у себя дома в нашем еврейском квартале на берегу Золотого Рога и, пытаясь согреться, подкидываем в очаг дровишки. Не смотрите, что я называю себя старухой: я могу обойти весь Стамбул вдоль и поперек со своим узлом, где среди шелковых платочков, перчаток, чаршафов³² и разноцветных тканей, привезенных португальским кораблем, лежат колечки, сережки, ожерелья и прочие штучки, дорогие и не очень, заставляющие сильнее биться женское сердце, и не останется ни одной улочки, на которую бы я не заглянула. А еще от дома к дому, от двери к двери я ношу письма, записочки и самые разные сплетни; между прочим, половину девушек этого города замуж выдала я и сейчас завела об этом речь не из хвастовства. Так вот, сидим это мы вечером с мужем, как вдруг в дверь стучат. Я открыла дверь и увидела на пороге глупенькую служанку Хайрийе с письмом в руке. Она начала излагать просьбу Шекюре, но так при этом дрожала, то ли от холода, то ли от волнения, что я сначала неправильно ее поняла.

Я подумала, будто Шекюре хочет, чтобы я отнесла письмо Хасану, и удивилась. (Муж ее пропал на войне – по-моему, его, бедолагу, давно убили, – а у него есть брат Хасан, бешеного нрава человек.) Но потом я поняла, что письмо нужно передать не Хасану, а кому-то другому. Что же написано в этом письме? Эстер чуть с ума не сошла от любопытства. В конце концов мне удалось его прочитать.

Мы с вами не очень близко знакомы; оттого я, по правде говоря, что-то вдруг засмущалась. Как я прочитала письмо, не расскажу. Может быть, вам мое любопытство покажется предосудительным и вы будете меня презирать – как будто сами не любопытны почище цирюльника. Я только перескажу вам, что услышала, когда мне читали письмо. Вот что написала милая Шекюре:

Кара-эфенди, пользуясь дружбой с моим отцом, ты приходишь в наш дом. Однако не рассчитывай получить от меня какой-нибудь знак. С тех пор как ты уехал, произошло многое. Я вышла замуж, у меня два замечательных сына. Одного из них, Орхана, ты только что видел, когда он заходил к вам в комнату. Уже четыре года я жду возвращения мужа и больше ни о чем не думаю. Возможно, оставшись с двумя маленькими детьми и престарелым отцом, я чувствую себя слабой и беззащитной, может быть, я и испытываю нужду в мужской силе и защите, но не думай, что кто бы то ни было сможет воспользоваться этим моим положением. Поэтому, пожалуйста, не стучи больше в нашу дверь. Однажды ты уже сделал неверный шаг, и мне потом стоило большого труда оправдать себя в глазах отца. Вместе с этим письмом я посылаю тебе рисунок, который ты сделал и подарил мне, когда был легкомысленным юношей. Я это делаю затем, чтобы ты не тешил себя никакими надеждами и не обманывался. Глупо думать, что можно влюбиться, глядя на рисунок. Лучше всего тебе позабыть дорогу в наш дом.

Бедняжка Шекюре, она же не мужчина, не паша, чтобы поставить внизу красивую печать! Она лишь подписала письмо первой буквой своего имени, похожей на маленькую испуганную птичку.

Кстати, о печатях. Вам, наверное, любопытно, как я вскрываю письма, а потом снова их запечатываю? А никак. Письма-то незапечатанные. Моя милая Шекюре думает, что Эстер,

³² Чаршаф – покрывало женщины-мусульманки.

мол, невежественная еврейка, нашей грамоте не обучена, ничего не разберет. Так-то оно так, ваши буквы я не разбираю – но я прошу других прочесть мне, что вы пишете. Но все письмо, письмо целиком, я замечательно могу прочитать и сама. Что, непонятно?

Ладно, объясню, чтобы поняли даже самые недогадливые.

Письмо – это ведь не только то, что написано. Письмо, как и книга, читается и на нюх, и на ошупь. Так что если глупых людей занимает, что в письме написано, то умных – о чем в письме говорится. Умение прочитать письмо по-настоящему, целиком – это подлинное искусство. Вот послушайте, что сказала в своем письме Шекюре.

Первое – я посылаю письмо тайно, но передаю его через привычную к таким делам Эстер, значит, не преследую цели во что бы то ни стало сохранить тайну.

Второе – письмо много раз сложено, словно тесто в пирожке. В знак того, что все написанное в нем – секрет, тайна. Однако оно не запечатано. К тому же к нему приложен большущий рисунок. Этим я хочу сказать: прошу тебя, давай будем беречь нашу тайну. Это больше похоже не на отказ от любви, а на призыв к ней.

Третье – что подтверждает аромат, который исходит от бумаги. Достаточно слабый, чтобы взявший в руки письмо остался в недоумении: с умыслом ли оно надушено? И в то же время такой привлекательный, что его нельзя не почувствовать (уж не аромат ли это ее рук, задумается получатель). Бедняга, который читал мне письмо, от одного этого аромата потерял голову. Думаю, то же самое случится и с Кара.

Четвертое – я, Эстер, женщина неграмотная, но почерк многое может мне рассказать. Письмо написано как будто второпях и небрежно, но буквы подрагивают в такой изящной гармонии, будто под легким ветерком, что становится ясно: никаким «второпях» тут и не пахнет. И пусть Шекюре пишет, что Кара «только что» видел Орхана, понятно, что у этого письма был черновик, – такая продуманность проглядывает в каждой строчке.

И пятое – на рисунке, приложенном к письму, изображена сцена из известной даже мне, еврейке Эстер, сказки: прекрасная Ширин влюбляется в красавца Хосрова, посмотрев на его изображение. Все любящие помечтать женщины Стамбула без ума от этой истории, но я первый раз вижу, чтобы кому-нибудь посылали рисунок к ней.

К вам, умеющим читать и писать счастливым, часто приходит кто-нибудь не знающий грамоты и просит прочитать письмо к нему – или к ней (обычно это девушка). Послание оказывается таким важным и волнующим, что девушка, хоть и смущенная тем, что посвятила вас в свою тайну, краснея, просит прочитать его снова. И вы читаете. Снова и снова, пока оба не заучиваете его наизусть. Тогда девушка берет письмо и спрашивает: а об этом где говорится? А о том? Вы показываете пальцем, и она смотрит на изгибы букв, на слова, которые не может прочитать, но помнит уже наизусть. А потом, позабыв, что не знает грамоты, сидит и льет над листком слезы, будто читает. И так, бывало, расчувствуешься, на это глядя, что хочется бедняжку расцеловать и приголубить.

А есть такие сволочи – смотрите, не поступайте, как они! – которые прочтенных писем назад не отдают, будто это их собственность. Девушка хочет снова потрогать свое письмецо, посмотреть на него, хоть и не понимает, где какое слово, а ей говорят: «Зачем тебе? Все равно читать не умеешь!» Иногда разбираться с негодяями и отнимать у них письма приходится мне. Вот такая я, Эстер, добрая душа. Если вы мне нравитесь – обязательно помогу.

9. Я – Шекюре

Почему я стояла у окна, когда Кара проезжал мимо на белом коне? Почему, повинуюсь внезапному порыву, распахнула ставни в то самое мгновение? Почему так долго смотрела ему вслед сквозь заснеженные ветви граната? Не могу вам этого точно сказать. Конечно, я знала, где проедет Кара, потому что сама отправила Хайрийе с весточкой к Эстер. Я пошла в комнату со стенным шкафом, из окна которой видно гранатовое дерево, и сидела там одна, перебирая белье в сундуках. Вдруг мне захотелось распахнуть окно; я изо всех сил дернула ставни, и комната наполнилась солнечным светом. Ослепленная солнцем, я замерла на месте и встретила с Кара взглядом. Он был так красив!

Он стал выше, возмужал, избавился от юношеской неловкости в движениях и похорошел. Видишь, Шекюре, сказала мне сердце, Кара не только красив – загляни в его глаза! Его сердце чисто, как у ребенка, и ему одиноко. Выходи за него замуж! Но написала я ему совсем другое.

Пусть он старше меня на двенадцать лет – и в свои двенадцать я была взрослее его. Стоило мне появиться рядом, как он забывал свои мужские повадки, бросал рассуждать о том, что сделает, что совершит, приходил в смущение, утыкался в лежащую перед ним книгу или рисунок и тиснил казаться незаметным. Потом он влюбился и признался мне в своей любви с помощью рисунка. Мы уже выросли к тому времени. Когда мне исполнилось двенадцать, я заметила, что Кара не может смотреть мне в глаза, словно боится выдать свою любовь. Скажет, к примеру: «Передай мне, пожалуйста, вон тот нож с рукояткой из слоновой кости», а сам глаз не оторвет от ножа, да и подняв их, избегает встречаться со мной взглядом. Или я спрашиваю его, хорош ли вишневый шербет, нет бы просто ответить мне улыбкой, как сделал бы любой, когда рот занят. Так он делал глоток и громко, словно глухой, говорил: «Да!» Все потому, что боялся смотреть мне в лицо. Я тогда была очень красива. Любой мужчина, увидев меня хоть разок, пусть издали, в раскрытую дверь или за занавесью окна, немедленно влюблялся. Это я говорю не из хвастовства, а чтобы вы лучше поняли мой рассказ и мою печаль.

В истории Хосрова и Ширин есть одно всем известное место, о котором мы с Кара часто говорили. Шапур хотел, чтобы Хосров и Ширин влюбились друг в друга. Однажды, когда Ширин отправилась на прогулку со спутницами, он незаметно подобрался к деревьям, под которыми те отдыхали, и повесил изображение Хосрова на одно из них. Увидев рисунок в прекрасном саду, Ширин влюбляется в Хосрова. Этот момент – или, как говорят художники, сцену, – когда Ширин с удивлением и восторгом смотрит на изображение Хосрова, висящее среди ветвей, рисовали многие. Работая с отцом, Кара часто видел подобные рисунки и несколько раз их копировал. Влюбившись в меня, он сделал еще один такой рисунок, только вместо Хосрова и Ширин изобразил на нем нас. Кара и Шекюре. Если бы он не подписал наших имен, только я одна могла бы догадаться, что на рисунке – мы, потому что до того он иногда в шутку рисовал нас в такой же манере и теми же красками: меня – в голубой одежде, себя – в красной. Но, словно этого было мало, он сделал еще и подпись внизу. Рисунок он положил там, где я могла его найти, и убежал, словно совершил преступление. Помню, он наблюдал издали за тем, как я смотрю на рисунок, и ждал, что я буду делать.

Я же прекрасно знала, что не могу влюбиться в него, как Ширин, поэтому поначалу и бровью не повела. Стоял один из тех летних дней, когда единственным спасением от жары был вишневый сироп, охлажденный льдом, который, как говорили, везли с самого Улудага. Вечером, когда Кара ушел домой, я сказала о его признании отцу. Кара в то время недавно окончил медресе, учительствовал на окраинах и пытался устроиться на службу к могущественному и пользовавшемуся всеобщим уважением Наиму-паше – не столько по своему желанию, сколько повинуюсь воле моего отца. Отец говорил, что у Кара ветер в голове. Он, Эниште, старается пристроить племянника к Наим-паше, пусть поначалу хотя бы писарем, а сам племянник палец

о палец ради этого не ударит. Глупо так себя вести! В тот вечер, выслушав меня, отец сказал: «А нищий племянничек-то, видать, выше метит! – и, не слушая, что говорит ему мама, прибавил: – Оказывается, он умнее, чем мы думали!»

Я с грустью вспоминаю о том, что отец делал в последующие дни, о том, как я и близко не подпускала к себе Кара; как он перестал ходить к нам в дом и не показывался больше в нашем квартале... Но вам я об этом рассказывать не хочу, чтобы вы не думали плохо об отце и обо мне. Поверьте, у нас не было иного выхода. В таких обстоятельствах даже самое своевольное сердце понимает, что его любовь безнадежна, и разумный человек сдержанно говорит: «Родители решили, что мы друг другу не пара» или «Так вышло». Мама несколько раз просила: «Вы хоть сердце-то ребенку не разбивайте!» «Ребенком» она называла Кара, хотя я и была вдвое младше. Но отец и не думал к ней прислушиваться: поступок Кара он счел дерзостью и был настроен непримиримо.

Нельзя сказать, что в нашем доме совершенно забыли о Кара после того, как он покинул Стамбул, – просто старались о нем не вспоминать. Многие годы до нас не доходило никаких известий о нем, так что, думаю, не было ничего плохого в том, что я сохранила тот рисунок – на память о детстве и о нашей детской дружбе. На тот случай, если отец или будущий муж найдут рисунок, я, чтобы они не рассердились, нажала на слова «Шекюре» и «Кара» отцовских чернил, а потом искусно превратила кляксы в цветы. И если есть среди вас такие, кто превратно истолковал мое появление перед Кара в окне, то, может быть, они устыдятся или немного задумаются, узнав, что я вернула ему этот рисунок.

После первой за двенадцать лет встречи я осталась стоять у окна и стояла, пока не замерзла, с восхищением наблюдая, как лучи вечернего солнца окрашивают сад в красноватые и оранжевые тона. Ветра совсем не было. Меня совершенно не волновало, что может сказать, увидев меня у открытого окна, какой-нибудь случайный прохожий, отец или Кара, вздумай он развернуть коня и снова проехать мимо дома. Одна из дочерей Зивера-паши, с которыми я так люблю раз в неделю сходить в баню, Месруре, – та, что все время смеется и веселится и любит порой ни с того ни с сего вдруг сказать что-нибудь такое, что диву даешься, – так вот, эта Месруре однажды объявила, что человек иногда сам не знает, о чем думает. Что до меня, то я, бывает, говорю что-нибудь и в тот же самый миг понимаю, что действительно так думала, но вот сейчас уже убеждена в прямо противоположном.

Меня огорчило известие о том, что Зариф-эфенди, один из тех художников, которых отец приглашал домой, самый некрасивый и робкий из них (не скрою, я за каждым незаметно наблюдала), пропал без вести, как мой муж.

Я закрыла ставни, вышла из комнаты и спустилась на кухню.

– Мама, Шевкет тебя не послушался! – сказал Орхан. – Когда Кара выводил коня из конюшни, он вышел из кухни и смотрел в щелочку.

– Ну и что? – махнул рукой Шевкет. – Мама тоже смотрела на него через дырку в шкафу.

– Хайрийе, на вечер поджаришь им хлеба с толченым миндалем и сахаром, – распорядилась я, – только масла много не лей.

Орхан запрыгал от радости, а Шевкет промолчал. Когда мы поднимались по лестнице, они с веселыми воплями обогнали меня, громко топая по ступеням и толкая друг друга.

– Тише, негодники! – сказала я и тоже рассмеялась, для порядка слегка хлопнув каждого по спине.

Как славно сидеть вечером дома с детьми! Отец тихо занимался своей книгой.

– Ваш гость уехал, – сказала я. – Надеюсь, он вас не утомил.

– Нет, – ответил отец, – напротив, мне было интересно. Он, как и прежде, уважает своего Эниште.

– Это хорошо.

– В то же время он осторожен и расчетлив.

Кажется, отец сказал это не для того, чтобы посмотреть, как я отзовусь, а чтобы оборвать разговор о Кара на пренебрежительной ноте. В другое время я нашла бы что ответить – с моим-то острым язычком. Но сейчас я только вздрогнула, потому что перед глазами снова возник образ всадника на белом коне.

Я так задумалась, что не помню, как вошла в комнату со стенным шкафом и почему мы с Орханом, обнявшись, оказались на тахте. Шевкет тоже прыгнул к нам, мальчишки начали пихаться – должно быть, поссорились, – и мы устроили настоящую кучу-малу. Потом я приласкала их, как маленьких щенят, поцеловала в макушку и прижала к себе, ощутив грудью тяжесть их маленьких тел.

– Гм, – сказала я. – Что-то волосы у вас грязноватые. Завтра пойдете с Хайрийе в баню.

– Я больше не хочу ходить в баню с Хайрийе, – заявил Шевкет.

– Что, неужели ты уже такой взрослый?

– Мама, а зачем ты надела эту красивую фиолетовую рубашку?

Я пошла во внутреннюю комнату, сняла фиолетовую рубашку и надела ту, которую всегда ношу, – светло-зеленую. Переодеваясь, я вздрагивала от холода, но чувствовала, что кожа моя горит огнем, а тело переполняют жизненные силы. Пока я возилась с детьми, румяна на моих щеках размазались; я поплевала на ладонь и как следует их растерла. Между прочим, вся моя родня и женщины, которые видят меня в бане, в один голос говорят, что я выгляжу не как родившая двоих детей женщина двадцати четырех лет, а как шестнадцатилетняя девушка. Я хочу, чтобы вы им верили, имейте в виду. А то не буду больше ничего рассказывать.

Не удивляйтесь, что я с вами разговариваю. Я много лет рассматриваю рисунки в книгах отца и выискиваю изображения красавиц. Встречаются они редко, но все-таки встречаются. Вид у них всегда смущенный и застенчивый, и глядят они или себе под ноги, или друг на друга, будто за что-то извиняются. Не бывает такого, чтобы они смотрели на мир, гордо подняв голову, как мужчины – воины и падишахи. Однако в дешевых книгах, миниатюры к которым рисовали второпях, у некоторых женщин, по недосмотру художника, взгляд направлен не в землю и даже не на какой-нибудь предмет (скажем, на кубок) или человека (например, на возлюбленного) с того же рисунка, а прямо на читателя. И я каждый раз думаю: кто же тот читатель, на которого она смотрит?

Меня охватывает дрожь, когда я вспоминаю о тех книгах, написанных двести лет назад, во времена Тимура, которые любознательные гяуры купили, заплатив золотом, и увезли в свои края: может быть, когда-нибудь и мою историю услышит кто-нибудь из такой же далекой страны. Каждый хочет попасть в книгу. Разве не то же волнение ощущают султаны и визири, полной горстью отсыпаящие золото тем, кто пишет книги, в которых рассказывается об их деяниях? Когда я думаю об этом, мне, как и этим красавицам, которые поглядывают одновременно на жизнь, окружающую их в рассказе, и за пределы книги, хочется поговорить с вами, наблюдающими за мной из неведомых далей и времен. Я красивая и умная, и поэтому мне нравится, что вы за мной наблюдаете. Так что если мне и случится иногда сказать неправду, то это затем, чтобы у вас не сложилось обо мне какого-нибудь неправильного представления.

Может быть, вы догадались, что отец меня очень любит. До меня у него было три сына, но их одного за другим забрал Аллах, а меня, девочку, оставил. Отец дрожит надо мной, как над сокровищем, но замуж я вышла не по его выбору. Отец хотел меня выдать непременно за человека величайшей учености, который разбирался бы в искусстве, при этом обладал бы властью и могуществом, да к тому же был бы богат, как Крез. Таких людей нет даже в его книгах, так что, будь отцова воля, сидеть бы мне долгие годы дома и ждать. Но я смогла выйти замуж за человека, которого выбрала сама, простого сипахи. Случилось так: этот красавец был у всех на устах, и я захотела сама его увидеть. Послала ему весточку через добрых людей, и однажды он как будто случайно попался мне навстречу, когда я шла из бани. В его глазах пылал огонь, и я сразу влюбилась. Он и в самом деле был красавец: темноволосый, а кожа светлая-светлая,

и глаза зеленые; у него были сильные руки, но вел он себя всегда спокойно и тихо, так что казалось, будто он безобиден, как младенец. Возможно, всю свою силу он расплескивал в боях, убивая врагов и захватывая добычу, – должно быть, поэтому мне казалось, что от него едва заметно пахнет кровью. Как бы то ни было, дома он всегда вел себя тише воды ниже травы. Поначалу он был беден, так что отец не хотел выдавать меня за него, и мне пришлось пригрозить самоубийством; но потом, после многожды проявленной в боях отваги, он стал хозяином тимара стоимостью в десять тысяч акче – все нам завидовали.

Когда четыре года назад, после войны с Сефевидами, он не вернулся домой вместе с войском, я поначалу не очень беспокоилась: он был уже опытным воином и часто действовал самостоятельно, привозил из каждого похода все больше добычи, получал за это новые земельные наделы и сам обучал воинов для своего отряда. Были свидетели, говорившие, что видели, как этот отряд отделился от главной колонны и свернул в горы. Поначалу я все думала, что муж вот-вот вернется, но за два года потихоньку привыкла к его отсутствию, поняла, сколько в Стамбуле женщин, у которых, как у меня, мужья пропали на войне без вести, и смирилась со своим положением.

По ночам, лежа в постели, я прижимала к себе детей, и мы вместе плакали. Чтобы утешить их, я придумывала, будто кто-то видел их отца и он обязательно должен вернуться еще до весны. Дети пересказывали мою ложь кому-нибудь другому, она начинала ходить по городу, в конце концов радостной вестью возвращалась ко мне – и я первая в нее верила.

Мы тогда жили в съемном доме в районе Чаршыкапы вместе с отцом моего мужа, старым абхазом, видевшим в жизни мало хорошего, но человеком добрым, и братом мужа, таким же, как он, зеленоглазым. На мужа держался весь дом, и, когда он пропал, жить стало тяжело. Свекор, в его-то годы, снова стал делать зеркала – это было его ремесло, которое он оставил, когда старший сын разбогател на военной службе. Брат мужа Хасан работал на таможне. Начав зарабатывать больше денег, он принялся строить из себя главу семьи. У нас была служанка-рабыня, которая делала всю работу по дому. Однажды зимой отец и брат мужа, испугавшись, что не смогут внести плату за съемный дом, отвели ее на невольничий рынок и продали, а от меня потребовали, чтобы я готовила еду, стирала белье и даже ходила на базар за покупками. Я не стала говорить, что не создана для такой работы, поборола гордость и взялась за дело. И все бы ничего, но Хасан, который раньше по ночам брал в постель рабыню, теперь стал ломиться в мою дверь. Я не знала, что мне делать.

Конечно, я могла сразу вернуться сюда, к отцу, но ведь в глазах закона мой муж был жив, а значит, если бы я разозлила Хасана и его отца, они могли бы, обратившись к кадию, не только вернуть меня в дом мужа, но и унизить нас с отцом, подвергнув наказанию (его – за укрывательство). С другой стороны, я могла уступить домогательствам Хасана, который казался мне и добрее, и рассудительнее моего мужа и был, я знала, безумно в меня влюблен. Но этот безрассудный поступок превратил бы меня не в жену, а – упаси Аллах! – в наложницу. Дело в том, что Хасан и его отец никак не соглашались заявить кадию, что признают моего мужа погибшим, – боялись, что тогда я потребую свою часть наследства и, быть может, даже переберусь с сыновьями в отцовский дом. Естественно, я не могла выйти за Хасана, пока кадий не объявит меня вдовой, – но ведь и за кого-нибудь другого тоже не могла выйти, а оттого им казалось предпочтительнее, чтобы мой муж считался «пропавшим», а я оставалась в неопределенном положении, которое привязывало меня к их дому. Не забывайте, что я готовила им еду и стирала их белье, а один из них к тому же был без памяти в меня влюблен.

Самым лучшим выходом для свекра и Хасана было бы, чтобы Хасан на мне женился. Для этого требовалось найти свидетелей смерти мужа и убедить в их искренности кадия. Видя, что самые близкие пропавшему люди, его отец и брат, согласны, чтобы его признали мертвым, а несогласных нет, кадий за пару-тройку акче мог притвориться, что верит лжесвидетелям, уверяющим, будто они видели, как такой-то погиб в бою. Но свекор и Хасан не верили, что,

признанная вдовой, я не покину их дом, не потребую свою часть наследства или денег на новое замужество, а самое главное – по своей воле выйду замуж за Хасана. Если я хотела убедить его, что никуда не уйду, то должна была спать с ним – и страстностью уверить в своей любви.

Я могла бы полюбить Хасана, если бы постаралась. Он был на восемь лет младше мужа, до его исчезновения был мне как брат, и я испытывала к нему теплые чувства. Он любил играть с моими детьми. Иногда он смотрел на меня так, как умирающий от жажды смотрит на стакан холодного вишневого шербета. Это мне нравилось. Но влюбиться в человека, который заставил меня, словно рабыню, стирать белье и ходить на базар, – для этого понадобилось бы приложить немало усилий, а Хасан не дал мне такой возможности. В то горькое время, когда я часто убегала в отцовский дом и нередко плакала, просто глядя на кастрюли, чашки и прочую посуду, когда по ночам мы с детьми спали тесно прижавшись друг другу в поисках тепла и защиты, Хасан, не веривший, что я смогу его полюбить, – не веривший в самого себя и в тот единственный путь, который мог бы привести к нашей свадьбе, – повел себя грубо и бесстыдно. Несколько раз он пытался прижать меня в углу и поцеловать, говорил, что мой муж никогда не вернется, угрожал меня убить, плакал, как ребенок. Из-за своей торопливости и нетерпения он не дал мне времени выпестовать в себе настоящую, благородную любовь, о которой говорится в книгах, – и я поняла, что не смогу выйти за него замуж.

Однажды ночью, когда мы с детьми уже легли спать, Хасан начал ломиться в нашу комнату. Я тут же вскочила и, не обращая внимания на испуг детей, во весь голос закричала, что в дом проникли злые джинны. Мои вопли разбудили свекра, который прибежал к нашей двери и застал возле нее распаленного страстью Хасана. Выслушав мой бессвязный, ни в какие ворота не лезущий бред о джиннах, умный старик понял постыдную правду: его сын, напившись пьян, с гнусной целью полез к невестке, матери двоих детей. Когда я сказала, что не буду спать до утра, чтобы сидеть у двери и охранять сыновей от джиннов, он промолчал. Утром я объявила, что вместе с детьми переезжаю к отцу, потому что тот болен и нуждается в уходе. Свекру оставалось лишь смириться. На память о семейной жизни я взяла с собой привезенные мужем из военных походов вещи, которые он в свое время не продал, а подарил мне: венгерские часы с боем, плетку из жил норовистого арабского скакуна, сделанный в Тебризе набор шахмат слоновой кости, который дети брали, когда играли в войну, и серебряные подсвечники из Нахичевани – их не раз хотели продать, но я не давала.

Как я и предполагала, после моего отъезда навязчивая и грубая страсть Хасана превратилась в безнадежную, но достойную уважения любовь. Лишившись поддержки своего отца, он перестал угрожать и вместо этого слал мне любовные письма, в уголках которых были нарисованы птицы, львы с грустными глазами и печальные лани. Может быть, конечно, эти письма писал и украшал рисунками какой-нибудь его друг с поэтическими склонностями, но если нет – внутренний мир Хасана был куда богаче, чем казалось мне, когда я жила с ним под одной крышей. Не буду скрывать, недавно я снова стала их перечитывать. В последних письмах Хасан говорит, что теперь избавил бы меня от работы по дому, потому что получает большое жалование; написаны они в милой, шутливой и уважительной манере. Эти письма не идут у меня из головы, а тут еще дети постоянно ссорятся и все время требуют от меня то того, то другого, отец жалуется и ворчит, – должно быть, от всего этого я и распахнула ставни, словно хотела, чтобы мир услышал мой вздох.

Вечером, перед тем как Хайрийе накрыла на стол, я приготовила отцу теплый напиток из самых лучших цветков аравийских фиников, добавила туда ложечку меда, немножко лимонного сока и размешала. Неслышно, словно бесплотный дух, – как отец того хочет – войдя в его комнату, я поставила перед ним чашку. Отец читал «Книгу о душе».

– Снег идет? – спросил он так тихо и печально, что я сразу поняла: это последний снег, который мой бедный отец видит в своей жизни.

10. Я – дерево

Я – дерево, очень одинокое дерево. Когда идет дождь, я плачу. Прошу вас, послушайте мою историю. Пусть кофе разгонит вашу сонливость, пусть шире раскроются ваши глаза: смотрите на меня, а я расскажу, почему одиноко.

Во-первых, меня, говорят, второпях нарисовали на листе грубой бумаги, чтобы меддах мог повесить рисунок дерева у себя за спиной. И правда: рядом со мной нет ни других изящных деревьев, ни семилистных степных трав, ни темных скал, причудливые очертания которых напоминают порой шайтана или человека, ни кучерявых китайских облаков – только земля, небо и я, да еще линия горизонта. Но моя история сложнее, чем кажется.

Во-вторых, будь я обычным деревом, не томилось бы оттого, что не стало частью книги. Но я нарисованное дерево, и мысль о том, что мною не украсили книжных страниц, очень меня беспокоит. Порой мне приходит в голову, что, раз я не сопровождаю какое-нибудь место в книге, меня можно повесить на стену и поклоняться мне, падая ниц, как делают язычники и гяуры. Да не услышат меня приверженцы проповедника из Эрзурума, иногда я этим втайне горжусь – но потом мне становится стыдно и очень страшно.

Наконец, главная причина моего одиночества заключается в том, что я само не знаю, частью какой истории было. А я стало бы частью истории, если бы лист с моим изображением из нее не выпал. Вот как это было.

Рассказ о том, как я выпало из своей истории, подобно слетевшему с дерева листу

Когда персидский шах Тахмасп³³, главный враг Османского государства и самый большой любитель миниатюры среди всех властителей мира, начал выживать из ума, то первым делом он охладел к развлечениям, вину, музыке, поэзии и рисункам. Потом шах перестал пить кофе; тут-то он окончательно в уме и повредился. Мучимый страхами и подозрениями, собственными угрюмым и мрачным старикам, он перенес столицу из Тебриза, который тогда принадлежал персам, в Казвин – подальше от османских воинств. Настал день, когда Тахмасп, еще более постаревший, объявил, что глубоко раскаивается в своем увлечении вином, мальчиками и рисунками, – прекрасное доказательство того, что вместе с любовью к кофе великий шах утратил и остатки здравомыслия.

Так и случилось, что великолепные мастера, переплетчики, каллиграфы и художники, двадцать лет создававшие в Тебризе чудеса из чудес, разбежались по разным городам, словно перепуганные птенцы рябчика. Самых лучших из них пригласил к себе Ибрагим Мирза, племянник и зять Тахмаспа, в то время наместник Мешхеда, и они начали в его мастерской работу над чудесной книгой Джамии, величайшего поэта Герата времен Тимура, в которую должны были войти все семь месневи³⁴ из его «Хефт Авренга» («Семи престолов»). Шах Тахмасп любил своего умного и доброго племянника, но завидовал ему и жалел, что выдал за него свою дочь; узнав, что готовится такая книга, он так взъярился от зависти, что отправил Ибрагима наместником в Каин, а потом – ибо гнев не давал ему покоя – в Себзевар, городок совсем мелкий. Каллиграфы и художники разъехались из Мешхеда по другим городам и странам, к другим султанам и вельможам.

Однако книга, заказанная Ибрагимом Мирзой, чудесным образом не осталась незавершенной благодаря тому, что у него был преданный китабдар³⁵. Этот человек сажился на коня и скакал в Шираз, потому что там жил мастер, искуснее всех покрывающий страницы краской и позолотой; затем, взяв два листа, он вез их в Исфахан, к каллиграфу, лучше всех владеющему изящным стилем насталик³⁶; оттуда его путь лежал через горы в далекую Бухару, чтобы знаменитый художник, работающий у узбекского хана, разметил рисунки и нарисовал людей; в Герате старый полуслепой мастер по памяти рисовал траву и переплетение листьев, гератский же каллиграф золотыми буквами в стиле рук'а³⁷ вписывал надписи в таблички на дверях нарисованных домов. Из Герата китабдар скакал обратно на юг, в Каин, где показывал благодарному Ибрагиму Мирзе заверченный за полгода странствий лист.

Стало понятно, впрочем, что этак книгу никогда не закончить. Тогда наняли татар-гонцов, каждому вручили по листу, а к листам приложили письма с подробными объяснениями того, что требуется от мастеров. И вот по дорогам Персии, Хорасана, Междуречья и страны узбеков поскакали гонцы со страницами будущей книги. И дело пошло куда быстрее. Бывало, снежной ночью пятьдесят девятый лист встречался со сто шестьдесят вторым в караван-сараях, за стенами которого были волки; между гонцами завязывался дружеский разговор, и, поняв, что листы предназначены для одной книги, они приносили их из своих комнат, разглядывали

³³ Тахмасп I (1514–1576) – второй правитель Ирана из династии Сефевидов, шах с 1524 г.

³⁴ Месневи (масневи, араб. двоящее) – стихотворная форма в арабской, персидской и тюркской поэзии: двустопные (бейт) со смежной рифмой или произведение из подобных двустопных.

³⁵ Китабдар – глава мастерской, в которой делали книги.

³⁶ Насталик – один из традиционных стилей арабского письма. В арабских странах называется «персидским письмом».

³⁷ Рук'а – упрощенный стиль арабского письма, в котором группы точек над и под буквами сливаются в черточки.

и общими усилиями пытались понять, какой рисунок к какому месневи и к какому его месту относится.

Одна страница этой книги, законченная, как я сегодня с грустью узнало, предназначалась для меня. Увы, холодным зимним днем гонец, везший меня, повстречался на скалистом перевале с разбойниками. Они сначала избили беднягу – татарина, а потом, как это водится у разбойников, раздели его догола, изнасиловали и безжалостно убили. Вот я и не знаю, какое место в книге должно было занимать. У меня к вам просьба. Посмотрите на меня и скажите: может быть, в моей тени должен был прятаться Меджнун, собравшийся проникнуть в шатер Лейлы в облиии пастуха? Или я олицетворяю мрак, что царит в душе человека, потерявшего надежду и веру, и должно было слиться с ночной темнотой? Самому мне хотелось бы давать приют двум влюбленным, сбежавшим от всего света, переплывшим моря и нашедшим покой и счастье на острове, где гнездится множество птиц и в изобилии растут фрукты, или укрывать своей тенью Искандера в его последний час, – воюя в Индии, он получил солнечный удар и несколько дней умирал, страдая от кровотечения из носа. Или я могло бы служить символом силы и возраста отца, дающего сыну наставления о жизни? Для какой истории я сгодилось бы, прояснив ее смысл и добавив ей изящества?

Один из разбойников, убивших гонца и таскавших меня с тех пор по горам и городам, любил показать, что, как человек утонченный, знает мне цену и понимает: созерцать нарисованное дерево приятнее, чем обычное; однако он не ведал, из какой я истории, и быстро мной пресытился. Впрочем, этот душегуб, вместе с которым я кочевало из города в город, не порвал меня и не выбросил, как я боялось. Однажды он расплатился мной на постоялом дворе за кувшин вина. Мой новый хозяин разбирался в искусстве. По ночам он иногда плакал, разглядывая меня при свете свечи, бедолага. Когда он умер от горя, его имущество продали. Меня купил меддах; благодаря ему я добралось до самого Стамбула, и очень этому радо, ведь для меня большая честь провести ночь среди славных художников и каллиграфов османского падишаха. Руки их творят чудеса, глаза остры, как у орла, воля крепче стали, а душа чувствительна и отзывчива. Во имя Аллаха, умоляю, не верьте тем, кто говорит, что один из них наскоро нарисовал меня на листе плохой бумаги, чтобы повесить на стену.

И вообще, какой только бесстыдной лжи и клеветы не придумают, каких только поклепов не возведут! Помните, вчера вечером мой хозяин, повесив на стену рисунок собаки, рассказывал о приключениях этого бесстыжого животного, а заодно припомнил и о проделках ходжи Хусрета из Эрзурума? Так вот, поклонники другого эрзурумца, почтенного ходжи Нусрета, неправильно нас поняли и приняли все на его счет – а у нас и в мыслях не было говорить о нем дурное! Разве мы могли сказать, что у такого почтенного человека, нашего великого проповедника отец невесть кто? Да никогда! Как можно о таком даже помыслить? И какие только смутяны придумали этот бесстыдный поклеп?! Впрочем, раз уж путают двух эрзурумцев, ходжу Нусрета и ходжу Хусрета, расскажу-ка я вам историю о ходже Недрете Косом из Сиваса, благо история эта связана с деревом.

Этот косой ходжа не только проклинал любовь к красивым мальчикам и рисование, но говорил также, будто кофе – выдумка шайтана и пьющий его попадет в ад. Эй, сивасец, ты, видать, забыл, как согнулся мой большущий сук? Я вам расскажу, как было дело, только вы поклонитесь, что от вас эту историю никто не услышит, – да сохранит нас Аллах от пустой клеветы! Как-то утром смотрю: лезет этот ходжа на упомянутый сук, а вместе с ним – огромный человек ростом с минарет и лапищами как у льва. Забравшись на сук и укрывшись среди моей пышной листвы, они, уж извиняюсь, занялись делом. И вот великан – потом-то я понял, что это был нечистый, – употребляет нашего ходжу, а сам нежно целует его в ушко и шепчет: «Пить кофе нельзя, пить кофе – грех...» Выходит, тот, кто убежден во вреде кофе, верит не предписаниям нашей прекрасной религии, а шайтану.

Напоследок я хочу поговорить про европейских художников, – если есть среди вас недостойные, желающие им подражать, пусть извлекут из моих слов урок. Эти самые европейцы так рисуют лица своих королей, священников, знатных господ и даже дам, что, посмотрев на рисунок, вы потом можете узнать изображенного, если встретите его на улице. Да, у них жены свободно по улицам разгуливают, о прочем можете сами догадаться. Однако этого им мало, они пошли дальше – это я не об их распущенности, а о рисунках.

Рассказывают, что однажды два больших европейских художника прогуливались по европейской лужайке и говорили о мастерстве и искусстве; когда же дошли они до опушки леса, тот, что был поопытнее, сказал: «Коли хочешь рисовать по-новому, нужно обладать таким мастерством, чтобы всякий любопытствующий, посмотрев на изображенное тобой дерево, мог при желании найти его в этом лесу».

Я, бедное дерево, которое вы видите на рисунке, благодарю Аллаха, что меня нарисовали не так, как говорил этот художник. И не потому, что боюсь, как бы все стамбульские собаки не приняли меня, нарисованное на европейский манер, за настоящее дерево и не стали бы на меня мочиться. Я хочу быть не просто деревом, а идеей дерева.

11. Меня зовут Кара

Снег, начавшийся поздно вечером, шел до самого утра. Всю ночь я снова и снова перечитывал письмо Шекюре: беспокойно расхаживал по пустой комнате пустого дома и время от времени останавливался у подсвечника, чтобы увидеть, как в тусклом, неверном свете свечи, раздраженно подрагивая, бегут справа налево сердитые буквы, как изворачиваются они, чтобы сказать мне неправду. Я смотрел на них, а перед глазами вновь возникали распахивающиеся ставни, лицо возлюбленной и ее печальная улыбка. Стоило мне увидеть настоящую Шекюре, и я забыл все те лица с пухлыми губами цвета вишни, которые последние шесть-семь лет рисовало мое воображение.

Где-то посреди ночи я стал мечтать о свадьбе и семейной жизни. Ни на секунду не усомнился я в своей любви, равно как и в том, что она взаимна. Вот мы женимся и очень счастливы... Но когда я дошел в своих мечтаниях до двухэтажного дома, в котором мы будем жить, воображаемое счастье разлетелось вдребезги: я не могу найти хорошей работы, мы с женой ссоримся, я ни в чем не способен настоять на своем...

Потом я понял, что почерпнул эти мрачные мысли из книги Газали³⁸ «Воскрешение наук о вере», которую читал одинокими ночами в Аравии, точнее, из той части этого сочинения, в которой описываются дурные стороны семейной жизни. Я сообразил, что там же, на соседних страницах, говорилось и о пользе женитьбы, но как ни старался – а ведь столько раз читал эту книгу! – из всех доводов в защиту брака сумел вспомнить только два. Во-первых, с появлением жены во всех домашних делах устанавливается порядок. (Однако в двухэтажном доме моих мечтаний порядком и не пахло.) Во-вторых, мужчина избавляется от постыдной необходимости прибегать к самоудовлетворению или, мучаясь еще большим чувством вины, идти за сводником по темным переулкам туда, где ждут блудницы.

Эта спасительная мысль пробудила во мне желание удовлетворить себя собственноручно – чтобы поскорее избавиться от наваждения, не дававшего мне покоя. Я привычно пристроился в углу комнаты, но через некоторое время понял, что ничего не получится. Через двенадцать лет я снова был влюблен!

Это несомненное доказательство пробудило в моей душе такое смятение и страх, что я снова стал ходить по комнате, дрожа, как огонек свечи. Если Шекюре открыла окно и показала мне на глаза, зачем тогда она написала такое письмо? Одно другому противоречит! Если она знать меня не желает, зачем ее отец зовет меня к себе? Они какую-то шутку решили со мной сыграть, что ли? Я мерил комнату шагами, и, казалось, стены, дверь и скрипящие половицы вместе со мной пытаются найти ответ на эти вопросы, но, как и я, пребывают в растерянности.

Я посмотрел на свой рисунок, сделанный много лет назад: Ширин видит повешенное на ветку дерева изображение Хосрова и влюбляется в него. За образец я тогда взял точно такой же рисунок из среднего качества книги, которую незадолго до того прислали Эниште из Тебриза. Сейчас, глядя на рисунок, я не испытывал того стыда, который в последние годы ощущал каждый раз, когда вспоминал о нем (ведь и сам он, и мое объяснение в любви были такими беспомощными), но и счастливых воспоминаний о детстве он тоже не пробудил. Под утро, собравшись с мыслями, я решил, что Шекюре затеяла хитроумную игру – шахматную партию любви – и, вернув мне рисунок, сделала первый ход. Я сел к подсвечнику и написал ответ.

Потом я немного вздремнул, а когда проснулся, спрятал свое письмо на груди и вышел на улицу. Шел я долго. Узкие стамбульские улицы от снега словно бы расширились, да и людей на

³⁸ [Абу Хамид] *аль-Газали* (1058–1111) – исламский богослов и философ персидского происхождения, один из основоположников суфизма.

них поубавилось. Город стал тише и спокойнее, как во времена моего детства. Тогда, в снежные зимние дни, мне казалось, что в Стамбуле нет ни одной крыши, купола и сада, которые не захватили бы вороны; так было и сейчас. Я шагал быстро, слушая, как хрустит снег под ногами, посматривал на вырывающийся из рта пар и с волнением думал, не застану ли в дворцовой мастерской, куда меня просил зайти Эниште, такое же безмолвие, как на улицах. В еврейский квартал я сворачивать не стал – отправил туда мальчонку, которому велел предупредить Эстер, где и когда (перед полуденным намазом) хотел бы с ней встретиться, чтобы передать письмо для Шекюре.

Когда я обогнул Айя-Софию и подошел к мастерской, было еще совсем рано. Здание это я хорошо знал: в детстве некоторое время был здесь подмастерьем, потом часто заходил сюда с поручениями от Эниште; выглядело оно точь-в-точь как в те годы, если не считать свисающих с карнизов сосулек.

Вслед за молодым симпатичным подмастерьем я прошел мимо пожилых переплетчиков, окруженных запахами клея и гуммиарабика, от которых кружится голова, мимо согбенных не годами, а ремеслом художников, мимо юношей с печальными глазами, которые размешивали краску, но глядели не на чашки у себя на коленях, а на языки пламени в очаге. В уголке старик старательно раскрашивал страусиное яйцо, рядом с ним мужчина средних лет весело распи-сывал шкатулку; за ними с почтением наблюдал молодой подмастерье. В одну из открытых дверей я увидел, как мастер запекает учеников, а те с красными от стыда лицами чуть ли не утыкаются носами в бумагу, пытаясь понять, что сделали неправильно и как это вышло. В другой клетушке сидел в одиночестве очень грустный юноша; забыв о красках и бумаге, он смотрел в окно на улицу, по которой я шагал совсем недавно. За другими открытыми дверями художники копировали рисунки, готовили краски, точили карандаши; когда я, чужак, проходил мимо, они неприязненно на меня косились.

Мы поднялись по обледеневшей лестнице и прошли по галерее, опоясывающей весь второй этаж. Внизу, в заснеженном внутреннем дворе, два мальчика-ученика, которые дрожали от холода, хоть и были закутаны в накидки из толстой шерстяной ткани, чего-то ждали – наверное, наказания. Я вспомнил, как в годы моей юности за лень или, скажем, порчу дорогих красок учеников били палками по ступням – так, что выступала кровь.

Мы вошли в теплую комнату. Здесь, удобно расположившись, сидели художники – но не те мастера, которых рисовало мне воображение, когда я шел сюда, а молодые люди, недавние подмастерья. Маститые художники, каждому из которых мастер Осман дал особое прозвище, сейчас работали у себя дома, и оттого это помещение, в которое я раньше всегда входил с почтением и трепетом, теперь напоминало не дворцовую мастерскую могущественного и богатого султана, а скорее большую комнату караван-сарая, затерянного в безлюдных горах где-то на Востоке.

Неподалеку от входа, облокотившись на небольшой сундук, сидел мастер Осман. За пятнадцать лет, что я его не видел, он сильно изменился – да что там говорить, стал похож на привидение. Великий художник, которого я в своих странствиях с восхищением, словно Бехзада, вспоминал каждый раз, когда думал об искусстве, сейчас, в своих белых одеждах, да еще и освещенный снежно-белым светом, льющимся из обращенного к Айя-Софии окна, выглядел так, словно давно уже присоединился к сонму бесплотных духов иного мира. Я поцеловал руку, покрытую бурыми старческими пятнами, и представился. Напомнив, что когда-то был отдан сюда Эниште в подмастерья, но предпочел кисти перо и ушел из мастерской, я рассказал и о том, что со мной было после: как многие годы провел в странствиях, жил в городах Востока, служил письмоводителем у пашей и в казначействах вилайетов, вместе с Серхатом-пашой и

другими пашами разыскал в Тебризе каллиграфов и художников, которым стал заказывать книги, бывал в Багдаде и Халебе, Ване³⁹ и Тифлисе, участвовал в войнах.

– О Тифлис! – сказал великий мастер, глядя на свет, что пробивался из заснеженного сада сквозь промасленную ткань, прикрывающую окно. – Там сейчас идет снег?

Главный художник Осман вел себя словно один из тех старых персидских мастеров, о которых сложено столько легенд: в старости, ослепнув от неустанного совершенствования в своем искусстве, они начинали напоминать не то праведников, не то слабоумных; однако в его пронизательных глазах я сразу прочитал, что Эниште он всей душой ненавидит, а ко мне относится с подозрением. И все же я рассказал ему, что в пустынях Аравии снег ложится не только на крыши – как здесь на крышу Айя-Софии, – но и на воспоминания; и еще поведал, что, когда снег идет в Тифлисской крепости, женщины поют пестрые и красочные, как цветы, песни, а дети до лета прячут под подушки мороженое.

– Расскажи, что рисуют художники в тех странах, где ты побывал, – велел мастер Осман.

Молодой художник, который с мечтательным видом, о чем-то глубоко задумавшись, сидел в уголке и размечал страницу, поднял голову и посмотрел на меня, словно хотел сказать: «Ну-ка, расскажи нам самую правдивую сказку!» Остальные тоже повернулись ко мне. Эти люди могли не знать, как зовут бакалейщика в квартале, где они живут, отчего сосед поссорился с зеленщиком и сколько стоит окка⁴⁰ хлеба, но у меня не было ни малейшего сомнения, что они прекрасно осведомлены о том, кто как рисует в Тебризе, Казвине, Ширазе и Багдаде и сколько платит мастерам тот или иной хан, шах, султан или наследник престола; по крайней мере, они уж точно слышали все последние слухи и сплетни, которые распространяются в этом кругу со скоростью чумы. И все же я рассказал им все, что знал, ведь я приехал с Востока, из той самой страны персов, где сражаются, где убивают друг друга претенденты на престол, попутно грабя и сжигая города, где каждый день говорят о войне и мире и где уже многие столетия пишут самые лучшие стихи и рисуют самые лучшие миниатюры.

– Как вам известно, – начал я, – шах Тахмасп, сидевший на троне пятьдесят два года, под конец жизни охладил к книгам и рисункам, отвернулся от поэтов, художников и каллиграфов и посвятил себя молитвам. Когда он умер, шахом стал его сын Исмаил, которого отец за своеволие и буйный нрав двадцать лет держал под стражей. Едва взойдя на престол, Исмаил проявил свою свирепость: одних своих братьев приказал удушить, а других – ослепить. Однако его врагам удалось избавиться от него с помощью яда, а на трон посадили его слабоумного старшего брата Мохаммеда Ходабенде. При нем его оставшиеся в живых родственники передрались между собой, наместники принялись устраивать мятежи, восстали узбеки – и началась такая война всех со всеми (тут еще наш Серхат-паша подоспел), что страна персов оказалась полностью разоренной. Слабоумный и полуслепой шах, хозяин пустой казны, не может заказывать ни книги, ни рисунки. Так легендарные миниатюристы Казвина и Герата, творившие чудеса в мастерской шаха Тахмаспа, художники, под кистью которых неслись во весь опор кони, а бабочки, ожив, взлетали со страниц, волшебники цвета, переплетчики, каллиграфы, старые мастера и их ученики – все остались без работы и средств к существованию, а некоторые даже без дома. Они и разъехались кто куда: кто на север к Шейбанидам⁴¹, кто в Индию, кто сюда, в Стамбул. Некоторые сменили ремесло, потеряв и самих себя, и свою честь. Другие прибились к какому-нибудь из враждующих между собой претендентов на престол и наместников и стали делать небольшие, с ладонь, книжки, в которых было от силы четыре или пять страниц с миниатюрами. Всюду появились наспех написанные и впопыхах проиллюстрированные книги, сделанные, чтобы потешить простых вояк, невежественных пашей и взбалмошных вельмож.

³⁹ Ван – город на востоке Турции.

⁴⁰ Окка – мера веса, равная 1,2828 кг (400 дирхемов).

⁴¹ Шейбаниды – династия, правившая Бухарским ханством в XVI в.

– И сколько за них дают? – спросил мастер Осман.

– Говорят, что прославленный Садыки-бей всего за сорок золотых сделал миниатюры к книге «Диковинки творения» для одного узбека-сипахи. В шатре невежественного паши, вернувшегося в Эрзурум из похода на Восток, на глаза мне попала муракка⁴² с непристойными рисунками, среди которых были исполненные рукой мастера Сиявуша. Некоторые большие мастера, не в силах расстаться со своим ремеслом, делают и продают рисунки, не связанные ни с одной книгой. Глядя на такой рисунок, покупатель не может сказать, какая сцена из какой истории тут изображена: деньги он дает только за сам рисунок – на котором, например, изображен конь – просто потому, что на него приятно смотреть. Большим спросом пользуются изображения сражений и любовных утех. Но даже большую сцену битвы не продать дороже трехсот акче, и заранее никто ничего не заказывает. Некоторые художники, чтобы привлечь покупателя дешевизной, делают рисунки на необработанной бумаге и даже не раскрашивают их, так черно-белыми и продают.

– Был у меня один художник, – сказал мастер Осман, – такой искусный, так ему все хорошо удавалось... За изящество работ мы прозвали его Зарифом⁴³. Но он нас покинул, пропал куда-то. Вот уже шесть дней нигде его нет. Как сквозь землю провалился.

– Разве может художник по своей воле покинуть эту мастерскую, свой счастливый отчий дом? – удивился я.

– Четыре молодых мастера, которых я выпестовал с первых дней их ученичества, Келебек, Зейтин, Лейлек и Зариф, по воле султана теперь работают дома.

Сделано это было вроде бы для того, чтобы они могли спокойно исполнить свою часть работы для «Сурнаме», над которой трудится вся мастерская. На этот раз султан не выделил лучшим художникам места во дворце, а повелел, чтобы они трудились дома. Мне пришло в голову, что это распоряжение могло быть отдано по просьбе Эниште, чтобы художники уделяли часть времени его книге, поэтому я ничего не ответил мастеру Осману. Не было ли скрытого смысла в его словах?

– Нури-эфенди, – обратился мастер Осман к бледному и сутулому художнику, – устрой достопочтенному Кара посещение.

«Высочайшим посещением» называлась церемония, которую устраивали, когда в мастерскую приходил султан. В те времена, когда его живо занимало все здесь происходящее, такое случалось раз в два месяца. В сопровождении главного казначея Хазыма, шехнамеджибаши⁴⁴ Локмана и главного художника Османа султан проходил по мастерской, и ему рассказывали, над страницами какой книги работают тут и что за рисунок раскрашивают там, как делают заставки, как подбирают цвета и размечают страницы, над чем трудится каждый из лучших художников, мастеров на все руки.

Рассказ Нури-эфенди меня опечалил. Шехнамеджибаши Локман, написавший большую часть книг, которые делали в мастерской, совсем одряхлел и не выходит из дома, мастер Осман обижен на весь белый свет и стал очень гневлив; лучшие художники Келебек, Зейтин, Лейлек и Зариф теперь работают дома, да и султан уже не радуется как ребенок, приходя в мастерскую, а оттого церемония высочайшего посещения давно не проводилась. Мне невесело было сознавать, что я участвую в жалком подобию ее. Нури-эфенди, как это бывает с большинством художников, состарился, толком не видя жизни, и в ремесле своем высот не достиг; однако годы, которые он провел, согнувшись над рабочей доской и наживая себе горб, не прошли зря:

⁴² *Муракка* – сборник миниатюр и образцов каллиграфии, которые наклеивались на листы картона, сшивавшиеся потом в альбом.

⁴³ Утонченный (*тур.*).

⁴⁴ *Шехнамеджибаши* – придворный хронист в Османской империи.

он всегда внимательно следил за тем, что происходит в мастерской, и знал, кто над чем сейчас работает.

Затаив дыхание, я рассматривал великолепные страницы «Сурнаме», посвященные празднеству по случаю обрезания сыновей нашего султана, – прежде мне не выпадало такой возможности. Празднество, в котором принимали участие представители всех профессий и ремесленных цехов, какие только есть в Стамбуле, продолжалось пятьдесят два дня; восторженные рассказы о нем дошли до самой Персии, а о книге, посвященной этой церемонии, я слышал, когда ее только еще начинали делать.

На первом рисунке, который мне показали, повелитель вселенной восседал на галерее дворца покойного Ибрагима-паши и благосклонно наблюдал за праздничными торжествами, происходящими внизу, на Ат-Мейдане⁴⁵. Его лицо, хотя и лишенное своеобразных черт, которые отличали бы его от лиц других людей, было выписано с благоговейной тщательностью. На следующем рисунке, занимавшем две страницы, в правой его части, в оконных проемах и арках были изображены визири и паши, а также персидский, татарский, венецианский и другие европейские послы. Лица этих людей, не столь значимых, как султан, прорисовали небрежно; взгляд их был прикован к происходящему на площади. Я заметил, что та же композиция повторяется и на других рисунках, хотя узоры на стенах, деревья и черепица нарисованы и раскрашены по-разному. Таким образом, когда художники и каллиграфы завершат работу и «Сурнаме» переплетут, читатель, переворачивая страницы, будет видеть падишаха и его окружение все в тех же позах, все так же смотрящих на площадь – а там будет происходить каждый раз что-нибудь новое, в новых красках.

Посмотрел на рисунки и я. Простолюдины, пришедшие на празднество, вырывали друг у друга чашки с пловом, сотни которых были выставлены на площади, и в испуге шарахались от зайцев и птиц, которые спешили выбраться из зажаренного быка, когда того начинали разделывать. Мастера-медники, проезжая на повозке мимо султана, укладывали одного из собратьев навзничь, ставили ему на грудь четырехугольную наковальню и ковали на ней медь, не попадая молотами по обнаженному телу. Стекольщики, сидя в своей повозке, наносили на стекла узоры – гвоздики и кипарисы; торговцы сладостями вели верблюдов, нагруженных мешками с сахаром, несли клетки с сахарными попугаями и пели сладкие песни; замочных дел мастера, седые старики, показывали свои изделия: замки всякие и врезные, с засовами и зубчиками, и ворчали, что и времена теперь не те, и двери никуда не годятся. Над рисунком, изображающим фокусника, поработали и Келебек, и Лейлек, и Зейтин. Фокусник ловко катал яйца по тонкому шесту, словно по мраморной плите, и было件нятно, что ни одно не упадет; рядом шел его помощник и бил в бубен. Командующий флотом Кылыч Али-паша велел рабам-гяурам, захваченным в плен в морских сражениях, соорудить на повозке земляную гору, посадил их туда, и в тот самый миг, когда они проезжали мимо султана, взорвал спрятанный в горе порох, чтобы показать, как стонала земля неверных от огня его пушек; нарисовано это было в мельчайших подробностях. Безбородые и безусые мясники с женоподобными лицами, облаченные в одежды цветов розы и баклажана, держали в руках огромные ножи и улыбались освежаванным и подвешенным на крюках розовым бараньим тушам. На одном рисунке ярился лев, которого в цепях привели перед очи султана и стали дразнить. Лев расвирился, глаза его налились кровью, зрители в восторге захлопали в ладоши; на следующей странице этот лев, олицетворяющий ислам, разрывал представляющую неверных свинью, раскрашенную в серый и розовый цвета. Проехала перед султаном и повозка, на которой расположилась цирюльня: сам цирюльник висел вниз головой и при этом брил посетителя, а рядом стоял подмастерье в красной одежде и, надеясь на бакшиш, держал перед посетителем зеркало и серебряную чашу

⁴⁵ *Ат-Мейдан* (Конская площадь) – площадь, расположенная на месте ипподрома византийских времен.

с ароматным мылом. Вдоволь насмотревшись на этот рисунок, я спросил, кто из художников так искусно его исполнил.

– Красота рисунка делает богаче жизнь человека, побуждает с благоговением относиться к сотворенному Аллахом красочному миру, размышлять, любить и верить. Вот что важно. А личность художника не имеет значения.

Может быть, мой собеседник догадался, что я пришел сюда разузнать кое-что для Эниште? Тогда он умнее, чем я думал, этот художник Нури. Или он просто повторяет слова мастера Османа?

– А все эти заставки кто сделал? – спросил я. – Зариф-эфенди? Кто теперь этим занимается вместо него?

Из открытой двери, выходящей во внутренний двор, слышались крики и детский плач. Внизу наказывали на фалаке⁴⁶ кого-то из подмастерьев, наверное тех двоих, что дрожали во дворе от холода, – скорее всего, за то, что отсыпали в карман рубинового порошку или прятали между листами обычной бумаги лист с позолотой. Молодые художники, не желая упустить случай подтрунить над мальчишками, бросились к двери.

– Подмастерья пока раскрашивают землю на площади, – сказал Нури-эфенди, – на этом рисунке мастер Осман велел сделать ее ярко-розовой. А к тому времени, как они закончат работу, если Аллаху будет угодно, наш брат Зариф-эфенди вернется и доделает заставки на этих двух страницах. Наш мастер Осман пожелал, чтобы землю на разных рисунках красили всякий раз в новый цвет: розовый, индийский зеленый, шафраново-желтый или цвет гусяного помета. Человек, рассматривающий рисунки, еще на первой странице, где земля на площади обычного цвета, поймет, что к чему, а потом смена цветов развлечет его, не даст заскучать. Ведь рисунок затем и раскрашивают, чтобы он выглядел веселее.

На глаза нам попался недоделанный рисунок для зафернаме⁴⁷ – один из учеников, сидя в углу, рисовал отплывающий на войну флот, но, услышав крики избиваемых на фалаке товарищей, естественно, побежал посмотреть. Флот, состоящий из срисованных с образца кораблей, казалось, не вписывается в море, но и неправильная композиция, и нехватка ветра в парусах объяснялись не плохим качеством образца, а бездарностью художника. Что до образца, то он, как я с грустью увидел, был безжалостно вырван из какой-то старой книги или муракки. По всей видимости, мастер Осман на многое теперь смотрел сквозь пальцы.

Когда очередь дошла до рабочей доски самого Нури-эфенди, он с гордостью сказал, что только что закончил тугру⁴⁸, над которой работал три недели. Кому и с какой целью будет послана эта тугра, было неясно – остальное пространство позолоченного листа оставалось пустым, – но я все равно смотрел на нее с почтением. Я знал, что многие своевольные паши на Востоке, увидев султанскую тугру, под впечатлением от ее благородной и исполненной могущества красоты оставляли мысли о мятеже.

Потом мы дошли до последних шедевров каллиграфа Джемалья, но возле них задерживаться не стали, чтобы не казалось, будто мы признаем правоту врагов цвета и рисунка, утверждающих, что основа и суть искусства – это линия, а рисунок – лишь предлог для нее.

Мастер Насыр восстанавливал – на самом деле только портил – пострадавшую от времени страницу из «Хамсе»⁴⁹ Низами (книгу делали при сыновьях Тимура), которую украшало изображение Хосрова, наблюдающего за тем, как купается обнаженная Ширин.

Полуслепой девяностодвухлетний старик дрожащими руками показал нам орнаменты на коробке для перьев, которая через три месяца будет преподнесена султану в дар на праздник,

⁴⁶ *Фалака* – подобие колодок, деревянный шест с натянутой вдоль него веревкой, между которыми закрепляли ноги наказываемого, чтобы бить его по пяткам палкой.

⁴⁷ *Зафернаме* (книга побед) – книга, в которой описываются войны и сражения.

⁴⁸ *Тугра* – монограмма султана, содержащая его имя и титул и выполненная в особом каллиграфическом стиле.

⁴⁹ *Хамсе* (араб. «Пятерица») – в персидской и ряде тюркоязычных литератур – совокупность пяти месневи одного автора.

и поведал, как шестьдесят лет назад, будучи в Тебризе, целовал руку Бехзаду, причем легендарный мастер, к тому времени уже ослепший, был пьян; становилось ясно, что ничего более примечательного со старцем за всю его жизнь не приключалось.

Тем временем в мастерской, где в тесных клетушках первого этажа работало около восьмидесяти художников, учеников и подмастерьев, воцарилось безмолвие. Это была тишина после наказания, я хорошо ее знал. Нарушалась она лишь иногда ехидным смешком или шуткой, а порой – тихим всхлипом или стоном, переходящим в сдавленный плач. Почтенные мастера вспоминали, как их самих били в ученические годы; ожили воспоминания и у меня. Глядя на полуслепого девяностодвухлетнего мастера, я подумал, что здесь, вдали от войн и потрясений, все неуклонно близится к концу. Наверное, в последний миг перед началом Судного дня установится такая же тишина.

Рисунок – это безмолвие разума и музыка глаз.

Когда я снова подошел к мастеру Осману, чтобы на прощание поцеловать ему руку, я ощущал не только почтение, но и нечто совсем иное: странное чувство вины, лишаящее покоя душу, – сродни тому чувству, которое испытываешь к праведникам, восхищение пополам с жалостью. Возможно, оно завладело мной оттого, что Эниште, желавший, чтобы художники хоть тайно, хоть явно подражали манере европейцев, был его соперником.

У меня вдруг возникло предчувствие, что я вижу великого мастера последний раз в жизни, и, желая понравиться старику и порадовать его, я задал ему вопрос:

– Осман-эфенди, учитель, скажите, что отличает великого художника от заурядного?

Я думал, что мастер Осман, привыкший к такого рода льстивым вопросам, даст какой-нибудь пустой ответ, только чтобы отвязаться от меня и в тот же миг забыть о моем существовании. Но он ответил серьезно:

– Нет какого-то одного мерила, которое позволило бы отличить подлинного художника от того, у которого нет ни таланта, ни веры. Времена меняются. Теперь, когда нашему искусству грозит опасность, важно знать, каких нравственных установлений придерживается художник и на что направлен его талант. Если бы я хотел узнать, что представляет собой молодой мастер, я задал бы ему три вопроса.

– Какие?

– Не хочет ли он, следуя новому поветрию и подпав под влияние китайцев и европейцев, обрести свой собственный стиль? Не желает ли выработать манеру, которая отличала бы его от других художников, а чтобы его работы было легче узнавать, не пытается ли ставить на них свою подпись, как то делают европейцы? Это мой первый вопрос – о стиле и подписи.

– А дальше? – почтительно спросил я.

– Дальше я захотел бы узнать, как этот художник относится к тому, что после смерти шахов и султанов, наших заказчиков, созданные нами книги, бывает, раздереживают на страницы и наши рисунки используют потом для других книг, в другие времена? Тут хоть огорчайся, хоть радуйся – ничего с этим не поделаешь. Поэтому я спросил бы художника о времени. О времени рисунка и времени Аллаха. Понимаешь, сынок, о чем я?

Я не понял, но вслух этого не сказал, только спросил:

– Каков же третий вопрос?

– Третий вопрос – о слепоте, – сказал великий мастер, главный художник Осман, и замолчал – словно считал, что здесь все понятно и без объяснений.

– О слепоте? – смущенно переспросил я.

– Слепота безмолвна. Если ты объединишь первые два моих вопроса, возникнет вопрос о слепоте. По-настоящему глубоко познать, что значит быть художником, можно только тогда, когда увидишь явившееся в дарованной Аллахом тьме.

Я промолчал и вышел за дверь. Не торопясь спустился по обледеневшим ступеням на первый этаж. Я решил, что задам три главных вопроса великого мастера Келебеку, Зейтину и

Лейлеку, и не для того только, чтобы завязать беседу, но и для того, чтобы лучше понять моих ровесников, о мастерстве которых еще при жизни ходят легенды.

Однако обходить дома художников я отправился не сразу. Сначала я пошел на новый рынок, который устроили неподалеку от еврейского квартала, на холме, откуда видно место, где Золотой Рог соединяется с Босфором. Там у меня была назначена встреча. Среди пришедших на рынок рабынь, неброско одетых женщин из бедных кварталов и прочих покупателей, увлеченно роющихся в грудах моркови, лука, редиса и айвы, Эстер выглядела очень ярко: вертящая великанша в розовой еврейской одежде, которая к тому же непрестанно тараторит, вращает глазами и подает знаки бровями.

Письмо, которое я ей отдал, она быстро и незаметно, будто на нас смотрит весь рынок, спрятала в карман шаровар. Потом заверила, что Шекюре только обо мне и думает, и взяла бакшиш. Я попросил ее отнести письмо как можно скорее, однако на это она сказала, кивнув на свой узел, что у нее еще много дел и с Шекюре она встретится ближе к обеду. Я попросил ее передать Шекюре, что собираюсь навестить трех молодых прославленных художников.

12. Меня называют Келебек

Незадолго до полуденного намаза в дверь постучали. Я открыл, смотрю: а это Кара, он некоторое время учился вместе с нами, когда мы были подмастерьями. Мы обнялись, расцеловались. Только я подумал, не прислал ли его с известием Эниште, как он сказал, что пришел по старой дружбе, хочет посмотреть страницы и рисунки, над которыми я работаю, и задать мне один вопрос – именем султана!

– Хорошо, – говорю. – Какой вопрос?

Он сказал какой. Ладно, отвечу!

Стиль и подпись

Чем больше будет недостойных, которые рисуют не ради услаждения глаз и укрепления веры, а из жажды денег и славы, тем чаще мы будем сталкиваться с такой мерзостью, как стиль и подпись. С этих слов я начал свой ответ, но это всего лишь краснобайский прием, на самом деле я в это не верю, потому что истинный дар и мастерство не может погубить даже любовь к славе и деньгам. Более того, если честно, я полагаю, что даровитый человек – я, например, – по праву заслуживает и богатства, и славы, они лишь пробуждают в нем еще большее рвение. Однако если я скажу это открыто, заурядные художники из мастерской совсем взбесятся от зависти, напустятся на меня, говоря, что я сам себя изобличил, и до того дойдет, что мне придется нарисовать дерево на рисовом зернышке, чтобы доказать, что я люблю наше ремесло куда больше, чем они.

Стиль, подпись и личность художника – три соблазна, которые подбираются к нам и с Запада, из Европы, и с Востока, где несчастные китайские художники сбились с истинного пути, обольщенные картинками, которые привезли с собой монахи-иезуиты. Послушайте же три поучительные истории на эту тему.

Три притчи о стиле и подписи

Алиф⁵⁰

В стародавние времена на севере Герата стояла крепость, в которой жил молодой хан, равнодушный к книгам и рисункам. Из всех женщин своего гарема этот хан любил единственную, любил безумно, – и красавица-татарка отвечала ему взаимностью. Ночи напролет не размыкали они жарких объятий и были так счастливы, что им хотелось, чтобы не было в их жизни никаких перемен. Они обнаружили, что самый лучший способ осуществить это желание – раскрыв книгу, часами, целыми днями, не отрываясь, рассматривать изумительные, безупречные миниатюры старых мастеров. Чем больше смотрели они на точь-в-точь повторяющие друг друга безупречные рисунки, что сопровождали одни и те же истории в разных книгах, тем сильнее казалось им, что время остановилось и счастливый золотой век, о котором повествуется в историях, приходит в согласие с их собственным счастьем. А в книжной мастерской хана был художник, мастер из мастеров, который умел рисовать так, что его миниатюры с безупречной точностью повторяли рисунки из старых книг. Когда этот художник изображал, как Фархад страдает от любви к Ширин, или как Меджнун и Лейла, увидев друг друга, обмениваются взглядами, полными восхищения и желания, или как Хосров и Ширин, гуляя по сказочному саду, похожему на райский, многозначительно смотрят друг на друга, он, по обычаю, под видом влюбленных из легенды изображал хана и красавицу-татарку. Глядя на изукрашенные страницы, хан и его возлюбленная верили, что их счастье никогда не кончится, и осыпали художника похвалами и золотом. В конце концов милости хана и чрезмерное богатство вскружили художнику голову, он поддался нашептываниям шайтана и в гордыне своей решил – забыв, что безупречностью работ обязан старым мастерам, – будто, если он привнесет в рисунок нечто от самого себя, тот вызовет еще большее восхищение. Однако хан и его возлюбленная приняли эти новшества, следы личного стиля художника, за изъяны и потеряли былой покой. Внимательно рассматривая рисунки, хан почувствовал, что его счастье уже не то, что прежде, и решил, что красавица-татарка его разлюбила. Чтобы вызвать в ней ревность, он разделил ложе с другой невольницей. Узнав об этом от гаремных сплетниц, татарка так опечалилась, что потихоньку пошла во двор гарема и повесилась на ветви кедра. Осознав, какую ошибку он совершил, хан понял и то, что виной всему было увлечение художника собственным стилем, – и в тот же день велел ослепить мастера, поддавшегося искушению шайтана.

Ба⁵¹

В одной восточной стране жил немолодой падишах, любитель миниатюры. На склоне лет он женился на красавице из Китая и был очень счастлив. Но сын падишаха от предыдущей жены влюбился в свою молодую мачеху, да и она была равнодушна к красивому юноше. Испугавшись, что может предать отца, и устыдившись своей запретной любви, сын удалился в мастерскую и стал посвящать все свое время рисованию. Поскольку кистью его двигала любовь и печаль, рисунки получались такими прекрасными, что никто не мог отличить их от работ старых мастеров, и падишах очень гордился своим сыном. Его молодая жена, взглянув на рисунки, говорила: «Да, очень красиво! Однако, если он не поставит подпись, через много лет никто не будет знать, кто создал эту красоту». – «Но если мой сын поставит подпись, разве

⁵⁰ Алиф – первая буква арабского алфавита.

⁵¹ Ба – вторая буква арабского алфавита.

не будет это означать, что он присвоил себе славу старых мастеров – ибо он копировал их рисунки? – спрашивал падишах. – Кроме того, поставив подпись, разве не признает он тем самым, что в рисунке отражено его собственное несовершенство?» Поняв, что ей не переубедить старого мужа, китаянка решила каким-нибудь образом познакомить со своими мыслями его сына, запершегося в мастерской, и в конце концов ей это удалось. Юноша, вынужденный таить свою любовь, страдал от мук уязвленной гордости; тем убедительней показались ему доводы молодой красивой мачехи, да и без нашептываний шайтана тут тоже не обошлось. На одном из своих рисунков, в самом уголке, между стеной и травой, он поставил подпись – совсем незаметную, как ему казалось. Этот рисунок изображал сцену из «Хосрова и Ширин». Вы, конечно, знаете: после того как Хосров и Ширин поженились, Шируйе, сын Хосрова от предыдущей жены, влюбился в мачеху и однажды ночью, забравшись через окно в родительские покои, вонзил кинжал в печень отца, спящего подле Ширин. И вот, разглядывая рисунок, изображающий эту сцену, старый падишах вдруг почувствовал, что в рисунке есть какой-то изъян. Подпись он увидел, но с нами часто бывает так, что разум не обращает внимания на то, что видят глаза; оттого у него лишь возникло смутное ощущение, что с рисунком что-то не так. Падишах подумал, что старые мастера такого не допустили бы, и его охватило волнение, потому что это означало: в книге, которую он читает, рассказывается не легенда, нет, речь в ней идет о том, чему в книге не место, – о действительных событиях. Поняв это, старик испугался. И в тот же самый миг его сын-художник пролез в окно и, не глядя в расширившиеся от ужаса глаза отца, вонзил ему в грудь кинжал, такой же большой, как на рисунке.

Джим⁵²

Рашид ад-Дин из Казвина пишет в своей «Истории» – и когда читаешь, чувствуешь, как нравится ему об этом писать, – что два с половиной столетия назад в Казвине самым почитаемым, самым любимым искусством было искусство книжное: каллиграфия и миниатюра. Правил в Казвине в ту пору могущественный шах, подчинивший своей власти сорок стран, от Византии до Китая (возможно, секрет такого могущества заключался как раз в любви к книге и рисунку). Увы, у шаха не было сына. Не желая, чтобы после его смерти созданное им в войнах государство распалось, шах решил выдать свою красавицу-дочь за какого-нибудь умного художника. Выбрав трех даровитых и неженатых художников из своей мастерской, он объявил, что устроит между ними состязание. Рашид ад-Дин пишет, что условия были весьма просты: кто сделает самый красивый рисунок, тот и станет наследником престола. Художники, не стовариваясь, выбрали один сюжет, очень любимый старыми мастерами: в саду, похожем на райские кущи, где растут кипарисы и кедры, скачут пугливые зайцы и носятся в воздухе ласточки, сидит, опустив глаза, прекрасная и печальная девушка, страдающая от несчастной любви. Все трое изобразили эту сцену точно так же, как это делали старые мастера, но один, сильнее других желавший, чтобы на его работу обратили внимание, спрятал в самом укромном месте, среди нарциссов, свою подпись – чтобы предъявить на красоту рисунка свои права. Однако за эту дерзость, бросавшую вызов скромности старых мастеров, он был немедленно сослан в Китай. Между оставшимися двумя художниками было устроено новое состязание. На этот раз оба изобразили дивный сад, а в нем, на белом коне, – красивую девушку, похожую на китаянку, с раскосыми глазами и выступающими скулами. Оба рисунка были прекрасны, как поэзия. Один из художников – то ли намеренно, то ли случайно, просто кисть у него дрогнула – как-то странно изобразил ноздри коня. Отец и дочь сразу это заметили и посчитали за изъян. Пусть художник и не поставил подписи – изъян, так мастерски вписанный в прекрасный рисунок, заставлял обратить на себя внимание. «С изъяна начинается стиль», – изрек шах и

⁵² Джим – третья буква арабского алфавита.

изгнал художника в Византию. Третий же художник подписей не ставил, изъянов не допускал и рисовал точь-в-точь как старые мастера. Начались приготовления к свадьбе. А потом, если верить пространной «Истории» Рашида ад-Дина, произошло вот что: весь последний день, остающийся до свадьбы, дочь шаха провела, печально глядя на рисунок, сделанный молодым, красивым и одаренным художником, женой которого ей предстояло стать. Когда же стемнело, она пришла к отцу и сказала: «Старые мастера на своих чудесных миниатюрах изображали всех красавиц похожими на китайнок. Я знаю: это традиция, пришедшая с Востока, ее нельзя нарушать. Однако если художник был влюблен, он придавал красавице на рисунке едва заметное сходство со своей возлюбленной: оно могло крыться в том, как он изобразил глаза, брови, волосы, улыбку на губах или даже ресницы. Этот тайный изъян был знаком, увидеть который мог только сам мастер и его любимая. Отец! Я целый день смотрела на изображение красавицы на коне, но так и не увидела в ней ничего от себя самой. Этот художник, конечно, великий мастер, к тому же молод и красив, но меня он не любит». Услышав эти слова, шах немедленно велел отменить свадьбу, и его дочь так и провела всю свою жизнь рядом с отцом.

– Значит, как следует из третьего рассказа, особенность, называемая стилем, начинается с изъяна? – вежливо осведомился Кара. – С того, что художник наделяет красавицу на рисунке такими же глазами или улыбкой, как у его возлюбленной, подавая тем самым тайный знак?

– Вовсе нет, – уверенно ответил я. – То новое, что мастер привносит в рисунок, в конце концов перестает быть изъяном и превращается в правило. Через некоторое время все начинают, подражая мастеру, рисовать женские лица так же, как он.

Мы немного помолчали. Кара, который очень внимательно слушал меня, когда я говорил, теперь прислушивался к звукам из-за стены: там, по коридору и соседней комнате, тихонько скрипя половицами, ходила моя красавица-жена. Заметив это, я посмотрел ему прямо в глаза.

– Первая история учит тому, что стиль – это изъян, – сказал я. – Вторая – что рисунок, лишенный изъянов, не требует подписи. Третья же история объединяет уроки первой и второй. В ней говорится о том, что подпись и стиль есть не что иное, как бесстыдная и глупая похвальба собственными изъянами.

Насколько вообще хорошо разбирается в искусстве этот человек, которому я рассказал свои притчи? Я спросил:

– Понял ли ты из моих рассказов, кто я такой?

– Понял, – ответил Кара, но прозвучало это совсем не убедительно.

Не пытайтесь понять меня, ограничиваясь его взглядом и мерками. Я сам без обиняков расскажу вам, кто я. Я умею все. Могу рисовать и раскрашивать рисунки так же хорошо, как старые мастера из Казвина, – делаю это легко, улыбаясь. И с той же улыбкой говорю: я лучше всех. И я не имею ни малейшего касательства к исчезновению Зарифа-эфенди, из-за которого, если я правильно догадался, ко мне и пришел Кара.

Кара спросил, как мне удастся сочетать занятия искусством и семейную жизнь.

Я много работаю, и работаю с любовью. Совсем недавно я женился на самой красивой девушке нашего квартала. Если я не рисую, значит мы как сумасшедшие, предаемся с ней любовным утехам; потом я снова работаю. Об этом я говорить не стал. Сказал, что приходится очень непросто. Если художник творит кистью чудеса на бумаге, ему не удастся творить такие же чудеса в постели; и наоборот, если он сполна удовлетворяет жену, с удовлетворением от искусства дело обстоит куда хуже. Как всякий человек, завидующий дару художника, Кара поверил этой лжи и обрадовался.

Он сказал, что хочет посмотреть на страницы, над которыми я работал в самое последнее время. Я усадил его за свою рабочую доску, среди баночек с красками и чернилами, кисточек, перьев и инструментов для лощения бумаги. Пока Кара разглядывал рисунок, над которым я сейчас тружусь (две страницы для «Сурнаме», церемония обрезания сыновей султана), я

присел рядом на красную подушку, тепло которой напомнило мне, что совсем недавно на ней покоились пышные ягодицы моей милой жены. Пока я водил по бумаге камышовым пером, изображая несчастных узников, печально выстроившихся перед падишахом, моя умная жена водила пальчиками по моему «стеблю», отчасти похожему на камыш.

Рисунок на две страницы, над которым я работал, изображал, как султан своей милостью освобождает должников, не сумевших рассчитаться с займодавцами и приговоренных к тюрьме. Повелителя я посадил так, как он всегда сидит во время этой церемонии (я сам бывал тому свидетелем), – на край ковра, на котором разложены мешочки с серебряными акче. Немного позади султана я нарисовал главного дефтердара⁵³; в руках у него – тетрадь, из которой он зачитывает записи о задолженностях. Осужденные должники, которые скованы цепями, продетыми в железные ошейники, преисполняются, попав перед очи султана, печали и страданий: вид у них понурый, брови насуплены, у некоторых на глазах слезы. Когда же они узнают, что султан оказывает им благодеяние, избавляя от тюрьмы, то от радости начинают возносить благодарственные молитвы и читать стихи; рядом красивые музыканты, которых я одел в красное, играют на уде и тамбуре⁵⁴. Чтобы лучше было понятно, какой стыд и душевную боль испытывает человек, попавший в долговую яму, я, хотя это и не было предусмотрено, изобразил рядом с последним из вереницы осужденных его подурневшую от горя жену в фиолетовых одеждах и прелестную дочурку в красной накидке-ферадже, длинноволосую и печальную. Я собирался рассказать, как растянул на две страницы череду скованных цепями должников, объяснить скрытый смысл красного цвета, показать кое-что такое, чего никогда не увидишь у старых мастеров: пересмеиваясь с женой, я пририсовал в уголке собачку и раскрасил ее в тот же цвет, что и атласный кафтан султана. Мне хотелось, чтобы этот хмурый Кара понял, что рисовать – это значит любить жизнь. Но тут он задал мне чрезвычайно неуместный вопрос.

Не знаю ли я, случайно, где может сейчас находиться бедный Зариф-эфенди?

Бедный? Вот еще! Ничтожный подражатель, работающий только ради денег, дурак, не ведающий, что такое вдохновение! Но этого я вслух не сказал.

– Нет, – ответил я, – не знаю.

Не думаю ли я, что на него могли напасть приверженцы проповедника из Эрзурума?

Я снова сдержался и не ответил, что он сам из этих.

– Нет, – сказал я. – Зачем им это нужно?

Бедность, болезни, порча нравов и прочие напасти, терзающие этот город, можно объяснить лишь тем, что мы забыли ислам времен Пророка, посланника Божия, усвоили новые, дурные обычаи и допустили, чтобы к нам проникли европейские влияния. Лишь об этом и говорит проповедник из Эрзурума, однако его враги хотят обмануть султана, уверяя, что последователи ходжи Нусрета нападают на текке, в которых звучит музыка, и оскверняют гробницы праведников. И теперь они желают узнать – ведь я, как им известно, не питаю вражды к почтенному эрзурумцу, – не я ли убил Зарифа-эфенди.

До меня вдруг дошло, что слухи об этом уже давно ходят среди художников. Бездари, не знающие, что такое вдохновение, с большим удовольствием распространяют сплетню, что я, мол, подлый убийца. Мне захотелось треснуть этого дурака Кара чернильницей по черкесской его голове за то, что поверил наветам завистников.

Стараясь запомнить все, что видит, Кара внимательно оглядывает все, что есть в моей мастерской: длинные ножницы для бумаги; глиняные чашки с мышьяком; баночки с красками; яблоко, от которого я время от времени откусываю, когда работаю; джеззу, что стоит на краю очага в глубине комнаты; кофейные чашки; подушки; свет, сочащийся в наполовину прикрытое занавеской окно; зеркало, которое я использую, чтобы проверить правильность композиции

⁵³ *Дефтердар* – в Османской империи чиновник, ведавший финансами, казначей.

⁵⁴ *Тамбур* (танбур) – щипковый шестиструнный музыкальный инструмент.

на листе; несколько моих верхних рубашек и красный пояс жены, лежащий у стены, словно овеществленный грех, – жена обронила его, когда в дверь постучали и она убегала в свою комнату.

Хотя свои мысли я от Кара и скрыл, рисунки и комнату, в которой живу, я не прячу от его дерзкого взгляда. Я знаю, всех вас удивит моя гордость, но что есть, то есть: я получаю больше всех денег, а значит, я – самый лучший художник! Ибо Аллах пожелал, чтобы рисунок был радостным, дабы всякий, кто умеет видеть, понял, что и весь мир тоже полон радости.

13. Меня называют Лейлек

Было время полуденного намаза. В дверь постучали, смотрю: Кара, знакомый детских лет. Мы обнялись. Он замерз, так что я поскорее провел его внутрь, даже не спросил, как он нашел мой дом. Оказывается, его послал Эниште – разузнать, почему пропал Зариф-эфенди и где тот может быть. Кроме того, Кара побывал и у мастера Османа. Кстати, говорит, у меня к тебе вопрос. Мастер Осман сказал, что подлинного художника от всех прочих отличает время – время художника. Что я об этом думаю? Слушайте.

Рисунок и время

Как всем известно, в давние времена художники Востока, например старые арабские мастера, смотрели на мир так же, как нынешние европейские гяуры, изображая его таким, каким он видится уличному бродяге, собаке, лавочнику или сельдерею у него на прилавке. Однако они не имели представления о приеме перспективы, которым так горделиво похваляются сегодня европейские мастера, а оттого мир на их рисунках был ограниченным и скучным – то есть именно миром собаки или сельдерея. Потом случилось одно событие, полностью изменившее мир нашего рисунка. Вот с этого события я и начну свой рассказ.

Три рассказа о рисунке и времени

Алиф

Триста пятьдесят лет назад, в тот год, когда холодным февральским днем монголы взяли и безжалостно разграбили Багдад, Ибн Шакир, несмотря на свой молодой возраст, уже был самым знаменитым и искусным каллиграфом не только среди арабов, но и во всем исламском мире. В прославленных на весь свет багдадских библиотеках хранилось двадцать два написанных его рукой тома – большинство из них списки Корана. Ибн Шакир верил, что эти книги доживут до конца света, и поэтому жил с ощущением глубины и бесконечности времени. За несколько дней монголы хана Хулагу разорвут, сожгут и побросают в воды Тигра все его прекрасные творения, о которых ныне мы ничего не знаем; но накануне взятия Багдада он неустанно и бесстрашно продолжал трудиться над последней своей книгой. Всю ночь он работал при дрожащем свете свечей, а в час утренней прохлады поднялся на минарет мечети Халифа, чтобы, повернувшись спиной к востоку, посмотреть на запад, на линию горизонта, ибо так на протяжении пяти столетий делали почитающие традиции и верящие в бессмертие книг арабские каллиграфы, чтобы дать отдохнуть глазам и спасти их от слепоты. Оттуда, с балкончика минарета, он видел, как творится то, что положит конец пятисотлетней книжной традиции. Он первым увидел, как в Багдад входят безжалостные воины Хулагу, – и остался стоять на минарете. Он видел, как грабят и громят город, как сотни тысяч человек погибают под ударами мечей, как убивают последнего халифа из династии, пять сотен лет правившей Багдадом, как насилюют женщин, как жгут библиотеки и бросают в Тигр десятки тысяч томов. Через два дня, когда над городом стоял смрад разлагающихся трупов и отовсюду раздавались крики умирающих, Ибн Шакир, глядя на воды Тигра, красные от чернил, смытых с брошенных в реку книг, подумал о том, что все эти столь красиво написанные книги, ушедшие в небытие, не смогли остановить ужасную резню и предотвратить разрушения, – и поклялся никогда больше не писать. Более того, ему захотелось выразить свою боль и рассказать об увиденном им бедствии с помощью искусства рисунка, которое он прежде презирал, считая возмущением против Аллаха. Взяв лист бумаги, с которой никогда не расставался, он нарисовал на нем то, что видел с минарета. Этому счастливому обстоятельству мы и обязаны тем, что после монгольского нашествия исламский рисунок обрел новую силу. В отличие от рисунков идолопоклонников и христиан мир в нем показан сверху, с непрерывной линией горизонта, таким, каким его видит Аллах; а в сердце художника живет искренняя боль. И вот еще что важно: после резни в Багдаде Ибн Шакир, движимый поселившимся в его душе стремлением рисовать, пешком отправился на север, туда, откуда пришли полчища монголов, и изучил манеру китайских мастеров. Так вот и стало ясно, что идея бесконечности времени, пять столетий жившая в сердцах арабских каллиграфов, должна воплотиться не в буквах, а в рисунке. И это воистину так, ибо книги рвут и уничтожают, но страницы с рисунками вставляют в другие книги. Они будут жить вечно, показывая, каков мир Аллаха.

Ба

Все в мире повторяется, поэтому, если бы человек не старился и не умирал, он и не замечал бы течения времени. Мы рассказываем одни и те же истории и сопровождаем их одними и теми же рисунками, как будто бы времени в мире вовсе нет. Так вот, то ли в давнее это было время, то ли в недавнее, но небольшое войско шаха Фахира, как пишет Салим из Самарканда в своем кратком историческом сочинении, «рассеяло» армию хана Салахаддина. Победитель

подверг побежденного пыткам и казнил, а затем, как это принято, первым делом отправился в библиотеку и гарем, дабы утвердиться в роли нового владыки. Опытный мастер-переpletчик стал расшивать книги покойного хана, менять местами страницы и составлять новые тома; каллиграфы принялись заменять слова «непобедимый Салахаддин» на «победоносный шах Фахир», а художники брали самые лучшие рисунки и, стирая лик хана Салахаддина, который уже начал забываться, рисовали вместо него более молодое лицо шаха Фахира. В гареме шах сразу отыскал самую красивую женщину, однако, будучи человеком утонченным, любителем книг и миниатюры, он не стал овладевать ею насильно, а решил завоевать ее сердце и завел с ней разговор. Нариман-султан, прекрасная вдова хана Салахаддина, со слезами на глазах попросила своего будущего мужа лишь об одном: оставить в неприкосновенности миниатюру из книги про Лейлу и Меджнуна, где сама Нариман-султан была изображена в виде Лейлы, а в виде Меджнуна – хан Салахаддин. Ее покойный муж столько лет заказывал книги, пытаясь таким путем обрести право на бессмертие, – неужели он не заслужил того, чтобы остаться на одном-единственном рисунке? Победоносный шах Фахир великодушно согласился исполнить несложную просьбу, и художники не стали исправлять эту миниатюру. Затем Нариман и Фахир сразу же предались любовным утехам и вскоре забыли об оставшихся в прошлом ужасах войны. Однако о том рисунке из книги про Лейлу и Меджнуна шаху забыть не удалось. Его не тревожило то, что его жена изображена на этом рисунке рядом с бывшим мужем, и ревность его не мучила, нет. Его грызла мысль о том, что, не будучи изображенным в чудесном своде старинных легенд, он не попадет вместе со своей женой в бесконечное время, не войдет в сонм бессмертных. Пять лет терзал его червь сомнения, и вот однажды, после счастливой ночи, проведенной в объятиях Нариман, он вышел из опочивальни и со свечой в руке, тихо, словно вор, пробрался в собственную библиотеку. Открыв книгу о Лейле и Меджнуне, он стер лицо бывшего мужа Нариман и попытался пририсовать Меджнуну свое собственное лицо. Однако, подобно многим правителям, любящим искусство миниатюры, художником он был неумелым, и собственное лицо у него вышло не очень удачно. Поэтому, когда хранитель библиотеки утром открыл книгу и увидел возле Лейлы с лицом Нариман Меджнуна с каким-то новым ликом, он объявил, что это лик главного врага шаха Фахира – молодого и красивого хана Абдуллаха. Слухи об этом смутили боевой дух воинов шаха, а молодому и воинственному правителю соседней страны придали смелости. В первой же битве хан Абдуллах разгромил шаха Фахира, взял его в плен и казнил, затем завладел его библиотекой и гаремом, и у Нариман-султан, прекрасной, как прежде, появился новый муж.

Джим

Среди художников хорошо известна история о мастере, которого в Стамбуле называют Долгим Мехмедом, а в стране персов – Мохаммедом из Хорасана. Обычно эту историю вспоминают, когда речь заходит о долгой жизни и слепоте, но на самом деле она скорее о рисунке и времени. Долгий Мехмед стал подмастерьем в девять лет, а значит, примерно сто десять лет занимался нашим ремеслом – и при этом не ослеп. Но самой главной его особенностью было полное отсутствие особенностей. Я так сказал не для того, чтобы поиграть словами; это искренняя похвала. Рисовал он как все и точнее всех повторял манеру старых мастеров – потому и был самым великим художником. Из-за своей скромности и преданности искусству, которое он почитал служением Аллаху, Мехмед никогда не ввязывался в склоки, случавшиеся в мастерских, где он работал, и никогда не притязал на должность главного художника, хотя возраст у него для этого был подходящий. Все сто десять лет он тихо сидел в уголке и терпеливо рисовал траву и тысячи листьев, заполняющих края страниц, завитки облаков, гривы коней – волосок к волоску, кирпичные стены и бесконечно повторяющие друг друга настенные узоры, а еще – десятки тысяч лиц с раскосыми глазами и узкими скулами, похожих друг на друга как

две капли воды. Он был очень счастлив и молчалив. Он не то что не пытался протолкнуться локтями в первые ряды – не выдвигался вовсе; собственный стиль создать не дерзал. В какой бы мастерской, у какого бы хана или вельможи ни работал Долгий Мехмед, он считал мастерскую своим домом, а себя – ничтожной ее принадлежностью. Ханы и шахи убивали друг друга, художники, подобно гаремным женщинам, перебирались из города в город вслед за новыми повелителями – и едва они устраивались на новом месте, как стиль новой мастерской уже проявлялся в извивах его листьев и травы, изгибах скал, в невидимых изгибах его терпения. Когда ему было восемьдесят, никто уже не верил, что он смертен, – казалось, он живет в тех легендах, иллюстрации к которым рисует. Оттого, возможно, некоторые и говорили, что он пребывает вне времени, а потому никогда не умрет. Да и то обстоятельство, что неприкаянная жизнь в мастерских, где он дневал и ночевал, не отрывая глаз от бумаги, не лишила его зрения, объясняли всё так же: время для него чудесным образом остановилось. Некоторые, впрочем, говорили, что на самом деле он слеп, но беды в том нет, потому что он все рисует по памяти. Легендарный мастер никогда не был женат и никого не любил. Но однажды, когда ему шел уже сто девятнадцатый год, в мастерской шаха Тахмасапа появился новый подмастерье – шестнадцатилетний луноликий юноша с раскосыми глазами и узкими скулами, наполовину китаец, наполовину хорват, образец мужской красоты – именно такие лица Долгий Мехмед рисовал всю свою жизнь. Старый мастер влюбился – и, чтобы снискать расположение прекрасного юноши, как настоящий влюбленный, стал добиваться власти в мастерской, затевать склоки, лгать и строить козни. Поначалу Долгий Мехмед взбодрила эта суетная, сиюминутная возня, от которой ему сто лет удавалось держаться в стороне, – однако он выпал из бесконечного времени старых легенд. Как-то раз после полудня он долго стоял у открытого окна, наблюдая за красавцем-учеником, и простыл на холодном тебризском ветру. На следующий день он так чихал, что ослеп, а еще через два дня упал с высокой каменной лестницы мастерской и расшибся насмерть.

– Имя Долгого Мехмеда из Хорасана мне известно, но этой истории я раньше не слышал, – проговорил Кара.

Сказал он это затем, чтобы показать: он понял, что мой рассказ закончен, и размышляет над ним. Я немного помолчал, давая ему возможность посмотреть на меня. Я не люблю, когда мои руки ничем не заняты, и поэтому, приступая ко второму рассказу, вернулся к рисунку, над которым работал, когда Кара постучал в дверь. У моих коленей, как обычно, тихо сидел, слушая рассказ и наблюдая за моими движениями, подмастерье, красавец Махмуд, – он смешивает краски, чинит перья, а когда мне случается ошибиться, стирает неудачное место. Было слышно, как во внутренних комнатах ходит моя жена.

– О! – сказал Кара. – Султан встал!

Заметив, как изумленно он воззрился на рисунок, я сделал вид, что причина этого изумления кажется мне не заслуживающей внимания, но вам скажу, в чем тут дело. Рисунок изображал сцену из «Сурнаме»: во время празднеств, посвященных обрезанию наследника, мимо нашего повелителя султана пятьдесят два дня проходят торговцы, ремесленники, воины, разбойники и прочий люд; султан наблюдает за шествием, сидя в арке галереи. Да, на всех двухстах рисунках султан изображен сидящим. И только на этом рисунке он у меня стоит, осыпая народ на площади флоринами из битком набитых мешочков. Я сделал это для того, чтобы лучше передать изумление и радость людей, которые, стремясь ухватить монеты, дерутся, пинаются, дубасят друг друга кулаками и ползают по земле, кверху задом.

– Если рисунок повествует о любви, исполнять его надлежит с любовью, – сказал я. – Если он призван источать печаль, не скорбные позы и реки слез должны выражать ее, но незаметная с первого взгляда внутренняя гармония. Сотни художников, желая изобразить изумление, веками рисовали человека с засунутым в рот указательным пальцем. Я не стал этого делать, изумлением веет от всего моего рисунка. Я добился этого, подняв нашего повелителя на ноги.

Кара внимательно оглядывал мои вещи и рабочие принадлежности, словно пытаюсь найти какую-то подсказку; я и сам, неотступно думая о том же, словно бы озираю свой дом его глазами.

Одно время в Тебризе и Ширазе было принято изображать дворцы, бани, крепости особым образом, так, будто на них устремлен взгляд всевышнего Аллаха, всезнающего и всевидящего. Художник словно бы рассекал дворец пополам огромной волшебной бритвой и рисовал все, что находится внутри: тарелки, чашки, невидимые снаружи узоры на стенах, занавеси, попугая в клетке и самые сокровенные уголки, где сидят на подушках не видевшие солнца красавицы. Будто читатель, с изумлением разглядывающий такой рисунок, изучал Кара мои книги, краски, листы бумаги, страницы кыяфетнаме⁵⁵ и муракка, которые я делал для любопытных путешественников-европейцев, изготовленные на скорую руку по заказу одного паши рисунки со сценами совокупления и другими непристойностями, мои разноцветные чернильницы из стекла, бронзы и глины, перочинные ножи слоновой кости, позолоченные перья, моего красавца-ученика, не упуская из виду и те взгляды, которые тот кидал в мою сторону.

– В отличие от старых мастеров я видел много войн, очень много, – сказал я, чтобы прервать молчание. – Видел военные машины, пушки, войска, убитых. Это я расписывал своды походных шатров нашего султана и его пашей. Вернувшись в Стамбул, я рисовал ратные сцены, о которых никто не хочет помнить: рассеченные надвое тела, смешавшиеся в яростной стычке воинства, несчастных воинов-гяуров, в ужасе смотрящих с башен своей осажденной крепости на наши пушки и войска, казненных мятежников и стремительные конные наступления. Я запоминаю, как выглядит все, что я вижу: новая мельница для кофе, оконная ручка необычной формы, пушка, курок нового европейского ружья; я помню, кто как был одет на пиршестве, кто что ел, кто, куда и как положил свою руку...

– Чему учат три рассказанные тобой истории? – спросил Кара с таким видом, будто хотел подвести итог нашей беседе, даже немного требовательно.

– Первая история, про минарет, учит тому, что, каким бы выдающимся ни было мастерство художника, безупречным рисунок делает время. Вторая история, про гарем и книгу, утверждает, что за пределы времени может выйти только мастерство и рисунок. А про третью скажи сам.

– Третья история, – уверенно заключил Кара, – про художника ста девятнадцати лет, объединяет уроки первой и второй и показывает, что отказавшийся от безупречной жизни и безупречного рисунка тем самым кладет конец своему времени и умирает.

⁵⁵ *Кыяфетнаме* – книга с описанием одежды различных народов, сословий и т. п.

14. Меня называют Зейтин

Через некоторое время после полуденного намаза, когда я бегло, но с удовольствием набрасывал милые лица мальчиков, в дверь постучали. Я тут же бросил рисовать, от волнения задрожали руки. Я осторожно отложил в сторону мою рабочую доску и как на крыльях понесся к двери. Перед тем как открыть ее, я вознес молитву. Поскольку вы, кто прочитает мой рассказ в книге, гораздо ближе к Аллаху, чем к нашему грязному, жалкому миру и к подлым рабам нашего султана, я, пожалуй, расскажу вам, в чем тут дело. Индийский султан, самый богатый из властителей мира, велел сделать книгу, слава которой затмила бы славу всех других великих книг, и разослал весть во все исламские страны, созывая к своему двору лучших художников. Его посланники, добравшиеся до Стамбула, вчера приходили ко мне и предложили отправиться в Индию. Но на этот раз за дверью были не они, а Кара, знакомый детства, о котором я сто лет не вспоминал. Когда-то он пытался стать одним из нас, не смог и оттого нам завидовал. В чем дело?

Оказывается, он пришел поговорить, вспомнить старую дружбу, посмотреть мои рисунки. Пожалуйста, пусть смотрит на все, что у меня есть. Он побывал у мастера Османа, поцеловал ему руку. Великий мастер изрек, что истинной цены художнику не узнать, если не задуматься о слепоте и памяти. Что ж, вот что я об этом думаю.

Слепота и память

До того как люди начали рисовать, была тьма, и тьма настанет, когда они перестанут рисовать. С помощью красок, мастерства и любви мы напоминаем, что Аллах некогда сказал нам: «Увидьте же!» Помнить – значит знать, что ты видел. Знать – значит помнить, что ты видел. Видеть – значит знать, не вспоминая. Стало быть, рисовать – значит вспоминать тьму. Великим мастерам известно, что цвета и способность видеть проистекают из темноты, и поэтому их любовь к рисунку есть желание вернуться во тьму Аллаха через цвета. Тот, у кого нет памяти, не может помнить ни Аллаха, ни его тьму. Все великие мастера, рисуя, ищут эту глубинную тьму, пребывающую в цветах и за пределами времени. Старым мастерам Герата удалось ее найти. Чтобы вы поняли, что значит помнить эту темноту, я расскажу вам три истории.

Три истории о слепоте и памяти

Алиф

В «Нефехат-аль-онс»⁵⁶, сочинении поэта Джами о святых и праведниках, переведенном на турецкий язык Ламии Челеби⁵⁷, рассказывается о том, что художник Шейх Али из Тебриза, который прославился, работая в книжной мастерской Джиханшаха, правителя Кара-Коюнлу⁵⁸, сделал великолепные миниатюры к книге о Хосрове и Ширин, работа над которой продолжалась одиннадцать лет; при этом он поднялся до вершин мастерства, каких достигал разве что Бехзад, самый великий художник прошлого. Книга еще не была изготовлена и наполовину, а Джиханшах уже понял, что станет обладателем сокровища, равного которому нет в целом мире, и слава его и могущество необычайно возрастут. А надо сказать, что Джиханшах жил в постоянном страхе перед правителем Ак-Коюнлу⁵⁹ молодым Узун-Хасаном, которому завидовал и которого объявил своим главным врагом. И вот Джиханшаху пришло в голову: а что, если после завершения великого труда Узун-Хасан задумает создать книгу еще более великолепную? И кому же он ее закажет, как не Шейху Али, который вполне может повторить свое творение, а то и превзойти самого себя? Эти мысли отравляли счастье Джиханшаха, не способного смириться с мыслью, что кто-то может оказаться счастливее его. И вот, решив, что никто, кроме него, не должен владеть великой книгой, он задумал сразу же после завершения работы над ней умертвить Шейха Али. Но одна добросердечная красавица-черкешенка из гарема подсказала ему, что мастера достаточно просто ослепить. Джиханшаху это предложение понравилось, и он рассказал о нем окружавшим его льстецам. Известие об этом дошло и до Шейха Али, но он не сбежал в Тебриз, бросив книгу недоделанной, как поступил бы на его месте какой-нибудь заурядный художник, и даже не замедлил работу, чтобы оттянуть злосчастное мгновение, и не рисовал скверно, чтобы книга вышла не безупречной, – напротив, он стал работать с еще большим рвением и пылом. Жил он один, работал дома: после утреннего намаза брался за кисть и рисовал кипарисы, коней, драконов, прекрасных принцев и влюбленных до полуночи, когда при свете свечей начинали слезиться усталые глаза. Он мог долго рассматривать миниатюру, принадлежащую какому-нибудь из старых мастеров Герата, а потом, не глядя на лист, нарисовать точно такой же – чаще всего так и делал. И вот книга была закончена, и мастер, как он и ожидал, был сначала осыпан похвалами и золотом, а потом ослеплен острой иглой, которой скрепляют тюрбан. Не успела еще утихнуть боль, как Шейх Али покинул Герат и явился к Узун-Хасану. «Да, я слеп, – сказал художник, – но вся красота книги, которую я делал одиннадцать лет, живет в моей памяти – каждый штрих пера, каждый мазок кисти. Моя рука может все это нарисовать снова. Повелитель, я готов сделать для тебя самую великолепную, небывалую книгу. Грязь этого мира более не смущает мои глаза, и поэтому по памяти я способен изобразить все красоты, созданные Аллахом, в их первозданной чистоте». Узун-Хасан сразу же поверил великому мастеру, а тот, сдержав слово, сотворил для правителя Ак-Коюнлу самую великолепную, небывалую книгу. После того как Узун-Хасан разгромил войска Кара-Коюнлу у озера Бингёль и казнил Джиханшаха, всем стало ясно, какой духовной силой обладает эта

⁵⁶ «Нефехат-аль-онс» («Дуновения искренней приязни») – трактат А. Джами, содержащий изложение и историю суфийских доктрин, а также жизнеописания выдающихся суфиев.

⁵⁷ Ламии Челеби (1472–1531) – турецкий поэт и богослов суфийского направления.

⁵⁸ Кара-Коюнлу – государство, созданное объединением кочевых племен турок-огузов на территории нынешнего Азербайджана и Западного Ирана, существовавшее с конца XIV в. по 1468 г.

⁵⁹ Ак-Коюнлу – государство, созданное одноименным объединением кочевых племен турок-огузов на территории Восточной Анатолии и Западного Ирана и существовавшее в 1467–1501 гг.

новая книга. Правда, потом победоносный Узун-Хасан проиграл Мехмеду Завоевателю⁶⁰ сражение при Отлукбели, и теперь эта книга, так же как и та, что Шейх Али из Тебриза сделал для Джиханшаха, находится в сокровищнице нашего султана. Кто видел, тот знает.

Ба

Блаженной памяти султан Сулейман Законодатель⁶¹ ценил каллиграфию больше, чем миниатюру. Поэтому невезучие художники, которым выпало жить во времена его правления, любили рассказывать эту историю, чтобы доказать, что рисунок важнее написанных слов; однако любой, кто внимательно ее выслушает, заметит, что на самом деле в ней говорится о слепоте и памяти. После смерти повелителя вселенной Тимура его сыновья и внуки повели между собой жестокие войны. Захватив чужую столицу, каждый первым делом приказывал чеканить деньги со своим именем и возносил благодарственную молитву в мечети, а затем начинал разбираться с захваченными книгами: одни страницы выбрасывали, другие вставляли, заново переплетали книги и писали новые посвящения очередному «повелителю вселенной», дабы всякий, кто посмотрит книгу, верил, что поименованный в посвящении и в самом деле владыка мира. Взяв Герат, Абд ал-Латиф, сын Улугбека⁶², сразу же отдал приказ изготовить книгу в честь своего отца; но художников, каллиграфов и переплетчиков заставили работать в такой спешке, что вытащенные из разных сочинений рисунки и страницы с текстом перепутались. Абд ал-Латиф не мог преподнести своему отцу, большому любителю книг, это нелепое собрание листов, в котором рисунки не сочетаются с рассказом; поэтому он собрал всех художников Герата и велел им для начала определить, какой рисунок к какой истории относится. Но каждый художник говорил свое, лишь усугубляя путаницу. Тогда вспомнили об одном слепом старике, который работал над книгами для всех шахов и наместников, что правили Гератом за последние пятьдесят четыре года. Художники зашумели, некоторые даже стали смеяться над слепцом, но тот, равнодушный к насмешкам, попросил привести смышленного, но не умеющего читать и писать ребенка, которому не исполнилось еще семи лет. Просьбу немедленно выполнили. Старый художник положил перед мальчиком рисунки и попросил рассказать, что на них изображено. Мальчик рассказывал, а старик, подняв к небу незрячие глаза, внимательно слушал и затем говорил:

«Фирдоуси, „Шахнаме“, Искандер обнимает умершего Дару...⁶³ Саади, „Полистан“, история об учителе, влюбившемся в красивого ученика... Низами, состязание врачей из „Сокровищницы тайн“...»

Другие художники стали злиться, говоря:

«Да это самые известные сцены из самых знаменитых историй! Их и мы могли бы назвать!»

Тогда старик попросил положить перед мальчиком самые темные для толкования рисунки и снова внимательно стал его слушать.

«Фирдоуси, „Шахнаме“, Ормузд убивает каллиграфов, отравив их ядом... Мевляна⁶⁴, «Месневи», скверный рассказ о муже, заставшем жену с любовником в ветвях груши, и рисунок плохой...»

⁶⁰ Мехмед II Завоеватель (1432–1481) – османский султан (с 1451), взявший Константинополь.

⁶¹ Сулейман I Законодатель (в европейской традиции – Великолепный, 1494–1566) – османский султан (с 1520), при котором Османская империя достигла наивысшей точки своего развития.

⁶² Улугбек (1394–1444) – внук Тимура, правитель державы Тимуридов, выдающийся астроном.

⁶³ Дара — Дарий III Кодоман (336–330) – древнеперсидский царь, побежденный Александром Македонским.

⁶⁴ Мевляна – эпитет Джалал ад-Дина Руми (1207–1273), персоязычного поэта-суфия, жившего в Конье, городе на территории современной Турции.

И так он определил содержание всех рисунков, хотя и не мог их увидеть, благодаря чему книгу наконец удалось составить и переплести.

Когда Улугбек со своим войском вошел в Герат, он захотел узнать у старого мастера, отчего тот, не видя рисунков, понял, к каким историям они относятся, а зрячие художники сделать этого не сумели.

«Причина не в том, что у меня, как у всех слепых, очень хорошая память, – сказал старик. – Истории запоминаются не только по образам, но и по словам».

Улугбек спросил, почему же тогда другие художники, знающие истории по словам, не смогли опознать рисунки.

«Они весьма высокого мнения о своем искусстве, – был ответ, – но не знают, что старые мастера рисовали, припадая к памяти Аллаха».

Откуда же об этом мог знать ребенок, осведомился Улугбек.

«Он и не знает, – пояснил старик. – Но мне, старому и слепому, ведомо, что Аллах создал мир таким, каким его хотел бы видеть смысленный семилетний ребенок. Ибо сначала Аллах сотворил мир, который можно увидеть. А потом дал нам слова, чтобы мы могли рассказать друг другу о том, что видим. Мы же сделали из слов истории и решили, что рисунки нужны для разъяснения историй. На самом же деле рисовать – значит напрямую обращаться к памяти Аллаха и видеть мир так, как видит Он».

Джим

Художники всегда боялись слепоты и пробовали предупредить ее. Известно, например, что среди арабских мастеров некогда было принято на рассвете подолгу смотреть на запад, на линию горизонта, а столетие спустя большинство художников Шираза ели по утрам на пустой желудок грецкие орехи, растолченные с лепестками роз. В те же самые годы одряхлевшие искусники Исфахана, повально страдавшие слепотой, полагали, что она наступает от солнечного света, и потому работали в полутемных углах, куда не дотянуться солнечному лучу, по большей части при свечах. У узбеков, в мастерских Бухары, художники по вечерам промывали глаза водой, над которой прочитал молитву шейх. Самый же простой выход, несомненно, нашел живший в Герате Саид Мирек, учитель великого Бехзада. Он считал, что слепота не наказание, а последняя милость, которую дарует Аллах художнику за то, что тот посвящает всю свою жизнь сотворенной Им красоте. Ибо рисунок – это попытка понять, как видит мир Аллах; однако достичь цели, увидеть несравненный образ художник может только на исходе полной трудов жизни, когда одряхлеет и ослепнет – и начнет вспоминать. Иными словами, только память слепого художника способна приоткрыть нам, каким Аллах видит мир. Всю жизнь художник набивает руку, чтобы в старости, когда из воспоминаний и темноты явится этот образ, рука сама смогла сделать дивный рисунок. Как пишет историк Мирза Мухаммад Хайдар Дуглат, оставивший жизнеописания гератских художников того времени, Саид Мирек, желая пояснить свое понимание рисунка, утверждал, что и самый бездарный художник рисует по памяти. Ведь даже если в голове у него совсем пусто и он надумает рисовать лошадь, глядя на настоящего скакуна, как это делают теперь европейские художники, он не сможет смотреть одновременно и на лошадь, и на бумагу, на которой рисует. Сначала художник смотрит на лошадь, а потом переносит на бумагу образ из своей головы. Пусть между взглядом на лошадь и взглядом на бумагу проходит мгновение – художник рисует не лошадь, которую видит, а лошадь, которую помнит. Это и служит доказательством тому, что, как бы ни был бездарен художник, рисунок возникает только благодаря памяти. Итак, в то время художники Герата считали, что все деяния их юности и зрелости – не что иное, как приуготовление к ожидающей впереди счастливой слепоте и работе по памяти; поэтому и все рисунки, исполненные для шахов и их сыновей, любителей книги, они воспринимали как пробу пера и кисти, как

упражнение. Они трудились без передышки, рисовали день за днем, вглядываясь при свете свечей в лежащие перед ними страницы, – для них это была счастливая возможность достичь слепоты. Мастер Мирек иногда изображал на ногте, рисовом зернышке или даже на волоске пышное дерево со всеми его листьями, умышленно приближая наступление слепоты, а иногда осторожно отодвигал ее, творя на бумаге радостные сады, залитые солнцем, словно пытался определить самое подходящее время для прихода счастливой темноты. Когда ему было семьдесят лет, султан Хусейн Байкара⁶⁵, желая вознаградить великого мастера, открыл перед ним двери своей сокровищницы, где под замком помимо оружия, шелка, бархата и золота хранились тысячи книг. Три дня и три ночи Саид Мирек рассматривал при свете свечей в золотых подсвечниках дивные страницы прославленных книг, украшенные миниатюрами старых гератских мастеров, а на четвертый день ослеп. Великий мастер принял это со спокойствием и покорностью, как весть, принесенную ангелом. После этого он навсегда замкнул уста свои и никогда уже не брался за кисть. Мирза Мухаммад Хайдар Дуглат объясняет это тем, что художник, узревший просторы, что лежат в бессмертном времени Аллаха, уже не может вернуться к страницам, которые делают для простых смертных, и говорит: «Там, где память слепого художника достигает Аллаха, царят совершенное безмолвие, счастливая тьма и бесконечность пустых страниц».

Я, конечно, знал, что, задавая мне вопрос мастера Османа о слепоте и памяти, Кара хочет не столько узнать ответ, сколько осмотреться в комнате, оглядеть вещи и рисунок, и все же я обрадовался, увидев, как вдумчиво он меня слушает.

– Слепота – это счастливый мир, куда нет доступа шайтану и где нет места преступлению, – сказал я ему.

– В Тебризе, – заметил Кара, – есть художники, работающие в старом стиле, которые под влиянием истории про мастера Мирека считают слепоту благодеянием Аллаха и самым большим приобретением художника. Они стыдятся, если не слепнут, дожив до преклонных лет, и, опасаясь, как бы это не сочли доказательством их бездарности, притворяются слепыми. А некоторые под влиянием все той же истории (или оглядываясь на Джамала ад-Дина из Казвина), желая воспринимать мир подобно слепым, неделями без еды и питья сидят в темноте среди зеркал и рассматривают в тусклом свете свечи миниатюры старых гератских мастеров.

В дверь постучали. Я открыл и увидел на пороге миловидного ученика из нашей мастерской. Его красивые глаза были широко распахнуты. Он сообщил, что тело нашего собрата Зарифа-эфенди найдено в заброшенном колодце, что заупокойную молитву будут читать в мечети Михримах во время третьего намаза, и побежал передавать известие дальше. Да сохранит нас Аллах!

⁶⁵ Хусейн Байкара (1438–1506) – правитель Хорасана из династии Тимуридов.

15. Меня зовут Эстер

Хотела бы я знать, любовь ли делает людей глупыми, или влюбляются только глупцы? Столько лет уже хожу со своим узлом и занимаюсь ремеслом свахи, а ответа на этот вопрос не нашла. Покажите мне того, кто, влюбившись, становится сообразительнее и хитрее. Особенно мужчину. Уж я-то знаю: если мужчина хитрит, расставляет ловушки, прибегает к обману, значит он ни капельки не влюблен. А наш Кара-эфенди уже потерял хладнокровие. Даже когда со мной говорил про Шекюре, совершенно собой не владел.

Когда мы встретились на базаре, я наплела ему, будто Шекюре только о нем и думает, только о нем и расспрашивает, никогда прежде ее такой не видела, – словом, то, что я говорю всегда и всем. Он так на меня смотрел, что мне стало его жалко. Письмо он попросил отдать Шекюре «как можно быстрее». Влюбленные глупцы воображают, будто любовь требует какой-то особой спешки, и, выказывая, как горячи их чувства, вкладывают оружие в руки своих возлюбленных; а те, если умны, медлят с ответом. Вот и выходит, что поспешность в любви лишь стопорит все дело.

Так что Кара-эфенди должен мне спасибо сказать, что я его письмо сначала отнесла в другое место. Замерзла я, пока ждала его на базаре. Дай, думаю, зайду по пути к одной из моих доченок, согреюсь. Доченьками я называю девушек, которых выдала замуж, передавая их письма. Эта тощая девица так мне благодарна, что каждый раз, когда я прихожу, так и вьется вокруг меня, да еще и парочку акче дает. Сейчас она ждет ребенка, рада-радешенька. Я с удовольствием выпила липового чая, который она для меня заварила. Когда она выходила из комнаты, я посчитала монеты, которые дал мне Кара-эфенди. Двадцать акче.

Затем я отправилась дальше. Пробираясь по переулкам непросто: грязь замерзла, того и гляди ноги переломаешь. Когда я добралась до нужного дома, мне захотелось пошутить.

– А вот шали из Кашмира, лучше не бывает! – закричала я. – Батист, достойный султана! Бархат для поясов из Бурсы! Египетская бязь с шелковой кромкой, для рубашек лучше не найти! Батистовые покрывала и простыни, разноцветные платки!

Дверь открыли, я вошла. Внутри, как всегда, пахло неубранной постелью, сном, пережаренным маслом и затхлой сыростью. Вселяющий ужас запах стареющего неженатого мужчины.

– Чего раскричалась, старая карга?

Я ничего не ответила, только достала письмо и протянула ему. Он скользнул ко мне, словно тень, схватил листок и шагнул из полутемной прихожей в соседнюю комнату, где всегда горит лампа. Я остановилась на пороге.

– Отец твой дома?

Он не ответил: был увлечен чтением. Ладно, пусть читает. Лампа стояла у него за спиной, так что лица я не видела. Добравшись до конца письма, он начал читать заново.

– Ну, – спросила я, – что пишет?

Хасан прочитал вслух:

Дорогая Шекюре-ханым! Я тоже многие годы живу мечтой об одном-единственном человеке, поэтому понимаю и ценю, что ты ждешь своего мужа и думаешь только о нем. Чего еще можно ожидать от такой честной и чистой женщины, как ты? (Тут Хасан расхохотался.) В ваш дом я пришел затем, чтобы поговорить с твоим отцом о делах книжных, – а не для того, чтобы смущать твой покой. Такое мне и в голову не приходило. И я вовсе не думаю, что ты подала мне какой-то знак или, тем более, к чему-то меня подтолкнула. Когда ты, словно луч солнца, показалась в окне, я воспринял это лишь как милость, ниспосланную мне Аллахом. Ибо одного только счастья видеть твое лицо мне достаточно. («Это он стащил у Низами», – сердито бросил Хасан.) Но раз уж ты пишешь, чтобы я к тебе не приближался, скажи: разве ты грозный ангел, чтобы я боялся приблизиться к тебе? Послушай меня, послушай: ночами в

мрачных и пустых караван-сараях, где, кроме меня, угрюмого хозяина и нескольких разбойников, давно заслуживших казнь, не было ни души, я смотрел в окно на голые вершины гор, осиянные лунным светом, пытался заснуть под вой одинокого – такого же одинокого, как я! – волка и мечтал о том, что придет день и ты вот так, неожиданно, покажешься в окне. Послушай: сейчас, когда я зашел к твоему отцу по делу, связанному с книгами, ты возвращаешь мне рисунок, сделанный мной в детстве. Для меня это знак того, что я нашел тебя. Я знаю, это не знак смерти. Я видел одного из твоих сыновей, Орхана. Бедный сирота. Я буду ему отцом!

– Молодец, хорошо написал, – похвалила я. – Прямо поэт!

– «Разве ты грозный ангел, чтобы я боялся приблизиться к тебе?» – повторил Хасан. – Эти слова он украл у Ибн Зерхани⁶⁶. Я лучше пишу. – Он достал из кармана свое собственное письмо. – Отнесешь это Шекюре.

Вместе с письмом он дал деньги – впервые мне сделалось как-то не по себе, когда я брала их. В слепом упрямстве этого человека, никак не желающего понимать, что ему не добиться взаимности, было что-то отвратительное. Словно желая укрепить меня в этом ощущении, Хасан впервые за долгое время отбросил учтивость, с которой обычно говорил о Шекюре, и грубо сказал:

– Передай ей, что, если мы захотим, приведем ее сюда силой, – кадий будет на нашей стороне.

– Что, так и сказать?

Хасан помолчал немного.

– Нет, не говори.

Лампа вспыхнула ярче, осветила его лицо, и я увидела, что он потупился, как сознающий свою вину ребенок. Да, я знаю, как он страдает, поэтому и уважаю его любовь, поэтому и ношу его письма. А не из-за денег, как думают.

Я уже выходила из дома, но Хасан задержал меня на пороге.

– Ты говоришь Шекюре, как сильно я ее люблю? – спросил он с волнением в голосе. Глупый вопрос.

– Разве ты не пишешь об этом в своих письмах?

– Скажи, как мне переубедить ее и ее отца?

– Будь хорошим человеком, – посоветовала я и направилась к двери.

– В моем возрасте уже поздно, – проговорил Хасан с искренней горечью.

– Ты теперь много денег зарабатываешь, Хасан Чавуш. Это делает человека хорошим, – утешила я и вышла.

В доме Хасана было так темно и тоскливо, что мне показалось, будто на улице стало теплее. Солнечные лучи слепили глаза. И я пожалела Шекюре – хоть бы ей улыбнулось счастье. Но и этого бедолагу, оставшегося в сыром, холодном и темном доме, тоже немного жаль. Вот и не собиралась этого делать, а свернула на рынок пряностей в Лалели – надеялась, что запахи корицы, шафрана и перца меня успокоят, но ошиблась.

Взяв у меня письма, Шекюре первым делом спросила про Кара. Я сказала, что он охвачен жестоким любовным огнем. Это ей понравилось.

– Все, даже женщины дома за вязанием, говорят сейчас о том, кому и зачем понадобилось убивать бедного Зарифа-эфенди, – перевела я разговор на другое.

– Хайрийе, приготовь халвы и отнеси бедняжке Кальбийе, вдове Зарифа-эфенди, – велела Шекюре.

– На похороны сойдутся все эрзурумцы, народу будет очень много, – продолжала я. – Родственники говорят, что кровь убитого не останется неотмщенной.

⁶⁶ Вымышленный автор.

Но Шекюре уже начала читать письмо Кара. Я очень внимательно и сердито вгляделась в ее лицо. У этой женщины большой жизненный опыт, так что она не позволяет чувствам проступать на лице. Я молчала, понимая, что ей это нравится: молчу, значит, придаю письму Кара большое значение. Когда она кончила читать и улыбнулась мне, я, чтобы сделать ей приятное, была вынуждена спросить:

- Что пишет?
- Влюблен в меня. Как в детстве...
- А ты что думаешь?
- Я – замужняя женщина. Жду мужа.

Думаете, я обиделась – попросила меня помочь, а сама лжет? Напротив, я даже успокоилась. Если бы все девушки и женщины, которым я ношу письма и даю наставления о жизни, были бы так же осторожны, как Шекюре, это здорово облегчило бы дело, а некоторые из них вышли бы замуж куда удачнее.

- А другой что пишет? – спросила я.

– Письмо Хасана мне сейчас читать не хочется, – ответила Шекюре. – Он знает, что Кара вернулся в Стамбул?

- Он даже не знает, кто это такой.

– Ты разговариваешь с Хасаном? – спросила моя красавица, подняв на меня свои черные глаза.

- Разговариваю, потому что ты этого хочешь.

- Ну и?..

– Он страдает. Очень тебя любит. Даже если твоему сердцу мил другой, от Хасана будет непросто отделаться. Видя, что ты принимаешь его письма, он преисполнился больших надежд. Бойся его. Он готов не только вернуть тебя в дом, но и признать, что его брат мертв, а потом взять тебя в жены.

Я улыбнулась, чтобы смягчить угрозу, прозвучавшую в последних словах, и не показаться сторонницей этого горемыки.

– Хорошо, а другой что говорит? – спросила Шекюре, но знала ли она сама, кого имеет в виду?

- Художник?

– Что-то у меня в голове все перепуталось, – вдруг пролепетала она, испугавшись, должно быть, своих мыслей. – А дальше, боюсь, все еще больше запутается. Отец стареет. Что нас ждет впереди, что будет с моими детьми-сиротами? Я чувствую, что к нам приближается какая-то беда, что шайтан готовится обрушить на наши головы несчастья. Эстер, скажи мне что-нибудь хорошее, порадай меня!

– Не бойся, милая моя Шекюре, – проговорила я, и душа у меня затрепетала. – Ты такая умная и красивая. Придет день, и ты ляжешь в постель с красавцем-мужем, обнимешь его, забудешь все свои горести и станешь счастлива. Я читаю это в твоих глазах.

Такая во мне поднялась нежность, что даже слезы на глаза навернулись.

- Да, но кто будет этот муж?

- Разве твое мудрое сердце не подсказывает тебе?

- Оттого я и несчастна, что не понимаю голоса своего сердца.

Наступила тишина. На какое-то мгновение мне показалось, что Шекюре несколько мне не доверяет и искусно пытается это скрыть, а заодно разжалобить меня, чтобы я сболтнула что-нибудь лишнее. Поняв, что сейчас она на письма отвечать не будет, я ухватила свой узел и сказала на прощание слова, которые говорю всем девушкам, даже косым:

– Если ты пошире откроешь свои прекрасные глаза и будешь смотреть в оба, ничего плохого с тобой не случится, даже не думай! – И была такова.

16. Я – Шекюре

Раньше, когда приходила торговка Эстер, я каждый раз надеялась, что неведомый мужчина моей мечты решился наконец действовать и написал письмо, от которого забьется из всех сил сердце такой женщины, как я, умной, красивой, выросшей в хорошей семье, овдовевшей, но очень порядочной. Увидев очередное письмо от одного из обычных моих воздыхателей, я хотя бы набиралась терпения и сил, чтобы ждать возвращения мужа. Теперь же после каждого прихода Эстер мысли путаются у меня в голове и я чувствую себя еще более несчастной.

Я прислушалась к звукам вокруг. Из кухни доносится бульканье кипящей воды и запахи лимона и лука: Хайрийе варит кабачки. Шевкет и Орхан во дворе, у гранатового дерева, сражаются игрушечными саблями, до меня долетают их крики. Отец в боковой комнате, там тихо. Я открыла и прочитала письмо Хасана – опять ничего внушающего надежду. Я только больше стала его бояться и похвалила себя за то, что смогла воспротивиться его домогательствам, когда мы жили с ним под одной крышей. Потом взяла в руки письмо Кара – осторожно, словно это хрупкая вещь, которая может разбиться, – перечитала его, и мои мысли снова пришли в смятение. Больше читать не было сил. Вышло солнце, и я подумала: если бы однажды ночью я разделила ложе с Хасаном, никто бы об этом не узнал, кроме Аллаха. Он так похож на моего пропавшего мужа – одно лицо. Какие же глупые и странные мысли лезут порой в голову! Солнечные лучи, лившиеся из дверного проема, согрели меня, и я вдруг ощутила всю свою разгоряченную кожу, все тело, до налитых сосков. Тут вошел Орхан.

– Мама, что ты читаешь? – спросил он.

Я, помнится, говорила вам, что не в силах была и дальше читать принесенные Эстер письма, – так вот, это неправда. Но на этот раз я и в самом деле сложила письма, спрятала их за пазуху и сказала Орхану:

– Ну-ка иди ко мне! Ох, какой ты тяжелый, большущий-то какой стал! – Поцеловала его и прибавила: – И холодный как ледышка.

– А ты, мама, такая жаркая! – сказал он и прислонился спиной к моей груди.

Нам обоим нравилось сидеть вот так, крепко прижавшись друг к другу, и молчать. Я ткнулась носом в его шею, поцеловала ее и обняла сына еще крепче. Так мы посиживали в тишине довольно долго, пока он не сказал:

– Мне щекотно.

– Скажи мне, пожалуйста, – произнесла я без тени улыбки, – если бы перед тобой возник падишах джиннов и пообещал исполнить любую твою просьбу, о чем бы ты попросил? Какое самое большое твоё желание?

– Чтобы Шевкета с нами не было.

– А еще? Ты хочешь, чтобы у тебя был отец?

– Нет. Когда я вырасту, я сам на тебе женюсь.

Постареть, подурнеть, даже остаться без мужа и впасть в нищету не самое плохое, что может случиться в жизни, подумала я. По-настоящему плохо, когда никто тебя не ревнует. Я ссадила пригревшегося Орхана с коленей и, размышляя о том, что такой скверной женщине непременно нужно выходить замуж за хорошего человека, пошла к отцу.

– Когда наш все милостивейший султан увидит завершённую книгу, он наградит вас, – сказала я, – и вы снова поедете в Венецию.

– Не знаю, – проговорил отец. – Это убийство меня испугало. Должно быть, наши враги очень сильны.

– Мне известно, что мое нынешнее положение тоже придает им смелости, способствует появлению ложных домыслов и безосновательных надежд.

– Ты о чем?

– Мне как можно скорее нужно выйти замуж.

– Что? – воззрился на меня отец. – За кого? Да ведь ты замужем! Что за странная мысль! Кто пожелает на тебе жениться? Даже если такой и найдется, даже если он будет человеком разумным, не думаю, что мы сможем так уж легко его принять, – объявил мой отец, человек весьма разумный, и заключил: – Тебе, разумеется, известно, какие серьезные затруднения нам придется преодолеть, прежде чем ты сможешь выйти замуж.

Наступило долгое молчание. Потом отец снова заговорил:

– Ты что, хочешь уйти и бросить меня, Шекюре?

– Вчера во сне я видела, что мой муж умер, – произнесла я, но не заплакала, как подобало бы женщине, в самом деле увидевшей такой сон.

– Для того чтобы понять рисунок, нужно уметь его прочесть. Точно так же и со снами.

– Думаете, мне нужно рассказать вам этот сон?

Повисло напряженное молчание. Мы улыбнулись друг другу, как люди, поспешно обдумывающие все выводы, которые можно сделать из сказанного ими.

– Я, конечно, могу истолковать твой сон так, что твой муж и в самом деле умер, и поверить в это – но твои свекор и деверь, а также кадий, который должен будет прислушиваться к их мнению, потребуют других доказательств.

– Уже два года прошло с тех пор, как мы с детьми перебрались сюда, а свекор и деверь не могут настоять на том, чтобы я вернулась.

– Поскольку отлично знают, что вели себя не безупречно. Но это не означает, что они согласятся признать тебя незамужней.

– Если бы мы с вами принадлежали к маликитскому или ханбалитскому мазхабу⁶⁷, – сказала я, – то кадий признал бы меня незамужней только потому, что со времени исчезновения мужа прошло четыре года, да еще назначил бы мне содержание. Но мы, по воле Аллаха, ханафиты, и нам такой выход из положения заказан.

– Только не рассказывай мне про помощника ускюдарского⁶⁸ кадия, который, мол, шафиит. Очень сомнительные дела они там творят.

– Все стамбульские женщины, у которых мужья пропали на войне, идут к нему со свидетелями, а он, будучи шафиитом, не спрашивает, как давно пропал муж, хватает ли средств к существованию, знакома ли ты со свидетелями, а сразу объявляет тебя незамужней.

– Откуда ты набралась всего этого, доченька? Кто тебя разума лишил?

– Пусть меня сначала признают вдовой, а потом, если найдется человек, способный лишить меня разума, на него, разумеется, укажете мне вы, и я ни в коем случае не буду противиться вашему выбору.

Мой хитрый отец, увидев, что дочь не менее хитра, часто заморгал. Одно из трех: или он попал в затруднительное положение и пытается быстро измыслить какую-нибудь хитрость; или на самом деле готов расплакаться от безнадежности и грусти; или только делает вид, что вот-вот заплачет, чтобы выбраться из затруднительного положения.

– Значит, хочешь забрать детей и уйти, а старший отец пусть остается один, да? Знаешь, я боялся, что меня убьют из-за нашей книги, – он так и сказал: «наша книга», – но теперь, когда ты собралась меня бросить, я и сам хочу умереть.

– Милый отец, разве не вы сами твердили, что я не избавлюсь от притязаний моего бестолкового деверя, пока меня не признают вдовой?

⁶⁷ Мазхаб – богословско-правовая школа в исламе суннитского толка, всего их четыре: маликитский, ханбалитский, ханафитский и шафиитский мазхаб.

⁶⁸ Ускюдар – район в азиатской части Стамбула.

– Я не хочу, чтобы ты меня покинула. Кто знает, может быть, твой муж еще вернется. А если и не вернется, нет ничего плохого в том, что ты считаешься замужней. Главное, что ты живешь в этом доме вместе со своим отцом.

– Я и не хочу ничего другого, только жить с вами в этом доме.

– Дорогая моя, разве ты только что не говорила, что желаешь как можно скорее выйти замуж?

Вот так оно всегда: спорю с отцом, а в итоге сама начинаю верить, что не права.

– Говорила.

Я опустила глаза, сдерживаясь, чтобы не заплакать. Потом, осмелев от сознания своей правоты, спросила:

– Что же, я так никогда и не выйду больше замуж?

– Я мог бы смириться с твоим новым замужеством, если бы ты жила где-нибудь неподалеку. Кто он, человек, который хочет взять тебя в жены? Согласится он жить здесь?

Я молчала. Мы оба, разумеется, знали, что отец не смог бы уважать зятя, согласного поселиться в его доме, стал бы его изводить и унижать так коварно и изощренно, что я и сама бы уже не захотела жить с этим человеком.

– Ты ведь знаешь, что в твоем положении выйти замуж без согласия отца, почитай, невозможно? Так вот, я этого не желаю и согласия своего не даю.

– Я не замуж хочу, а чтобы меня признали вдовой.

– Вот выйдешь за какого-нибудь мерзавца, которого ничего не волнует, кроме его собственной выгоды, и будет он тебя мучить и обижать. Доченька, ты же знаешь, как я тебя люблю. Да и книгу нам надо закончить.

Я молчала. Я была так зла, что, если бы заговорила, шайтан подбил бы меня бросить прямо в лицо отцу, что мне известно о том, как по ночам он приводит в свою постель Хайрийе, – а разве дочери пристало говорить старому отцу такое?

– Кто хочет на тебе жениться?

Я смотрела в пол и молчала, не от смущения, а от злости, и только еще больше злилась оттого, что никак не могла ответить. Перед глазами рисовалась смешная и отвратительная картина: отец в постели с Хайрийе. На глаза навернулись слезы, но я не заплакала, а сказала:

– Как бы кабачки на кухне не подгорели.

Я дошла до лестницы, юркнула в свою комнату, окно которой, всегда закрытое, смотрит на колодец, в темноте на ощупь быстро расстелила постель и рухнула на нее. Ах как славно было в детстве, когда тебя обидают, броситься на постель и в слезах забыться сном! Никто меня не любит, кроме меня самой, и от одиночества мне так горько, что я плачу, а вы, слыша мои всхлипы и стоны, приходите мне на помощь.

Немного погодя я обнаружила, что рядом, положив голову мне на грудь, лежит Орхан и тоже горько плачет. Я крепко прижала его к себе.

– Не плачь, мама, – сказал он. – Отец вернется с войны.

– Откуда ты знаешь?

Он молчал. Но я, прижимая его к груди, чувствовала такую любовь, что все мои печали забылись. Сейчас я усну, обняв хрупкое худенькое тельце Орхана, но прежде хотела бы сказать вам вот что: мне очень жаль, что я, разозлившись, сболтнула про отца и Хайрийе. Нет, я не солгала, но все равно мне очень стыдно, так что, пожалуйста, забудьте об этом, как будто я ничего не говорила, как будто вы ничего не знаете о том, чем занимаются отец и Хайрийе, хорошо?

17. Я – ваш Эниште

Тяжело быть отцом взрослой дочери, ох тяжело. Я слышал, как Шекюре рыдает в своей комнате, но ничего не мог поделать, так и сидел с «Книгой о Судном дне» в руках и пытался читать. На одной из страниц этой книги говорится, что через три дня после смерти душа, получив позволение Аллаха, отправляется взглянуть на тело, в котором жила. Увидев тело в жалком состоянии, в могиле, в крови и гнилой воде, душа скорбит и плачет: «Бедная моя плоть, бедное мое любимое тело!» Я подумал о печальном конце Зарифа-эфенди: как, должно быть, огорчилась его душа, когда явилась навестить тело и обнаружила его не на кладбище, а на дне колодца.

Как только рыдания Шекюре затихли, я отложил книгу о смерти в сторону. Надел еще одну шерстяную рубашку, шаровары на кроличьем меху, потуже затянул теплый войлочный пояс и вышел из дома. У ворот мне встретился Шевкет.

– Деда, ты куда?

– На похороны. Иди в дом.

Я шел к городской стене по пустым заснеженным улицам, мимо пепелищ и гнилых, покосившихся, грозящих того и гляди рухнуть домов, в которых живут бедняки; шел по окраинным кварталам, минуя огороды, поля и встречающиеся между ними лавки шорников, седельщиков, кузнецов, торговцев скобяными изделиями и конской упряжью. Шел долго, осторожными старческими шагами, стараясь не поскользнуться и не упасть.

Не знаю, почему заупокойный намаз решили читать в мечети Михримах, что в Эдирнекапы, в дальнем конце города. Добравшись до мечети, я обнял братьев покойного. Выглядели они сердито и сурово, но при этом растерянно. Обнялись мы и с художниками, и с каллиграфами, поплакали друг у друга на плече. Когда приступили к намазу, откуда ни возьмись вдруг опустился густой свинцовый туман и окутал все вокруг. Я никак не мог отвести глаз от носилок с телом покойного, поставленных на каменную плиту, и испытывал такую злобу на подлеца, который совершил это убийство, что даже слова заупокойной молитвы перепутались в голове.

После намаза, когда носилки подняли на плечи, я остался среди художников и каллиграфов. Мы, снова заплакав, обнялись с Лейлеком, забыв, как ночами, когда мы до самого утра работали над книгой при тусклом свете лампы, он говорил, что работы Зарифа – дешевка, и убеждал меня, что тот совершенно не умеет сочетать цвета (чтобы рисунок выглядел богато, Зариф-эфенди повсюду добавлял лазури), а я, соглашаясь с ним, вздыхал, что делать нечего, других подходящих людей нет. Мне очень понравился дружеский и полный почтения взгляд Зейтина. Потом он обнял меня, и это мне тоже пришлось по нраву, ведь человек, умеющий обнимать, – хороший человек; и я снова подумал, что из художников и каллиграфов он больше всех верит в мою книгу.

На ступенях ведущей во двор лестницы я столкнулся с главным художником, мастером Османом; оба мы не знали, что сказать друг другу. Это было странное и неловкое мгновение: неподалеку зашелся в рыданиях один из братьев покойного, какой-то любитель покрасоваться снова завел молитву.

– Какое кладбище? – спросил мастер Осман, чтобы не молчать.

Меня охватило волнение: почему-то показалось, что если я отвечу «не знаю», это будет выглядеть проявлением враждебности, поэтому я не задумываясь обернулся к человеку, спускавшемуся по лестнице рядом со мной, и спросил:

– Какое кладбище? Эдирнекапы?

– Эйюп⁶⁹, – сердито буркнул молодой бородач.

⁶⁹ *Эйюп* – район Стамбула, находящийся за пределами стен Феодосии на берегу Золотого Рога. Там находится священное

– Эйюп, – повторил я, обернувшись к мастеру Осману, но он, не хуже моего слышавший ответ, бросил на меня такой взгляд, что сразу стало понятно: ему не хотелось бы затягивать беседу.

Конечно же, мастер Осман затаил на меня злобу за то, что наш султан именно мне поручил изготовить книгу, которую я называю тайной. Кроме того, под моим влиянием султана стала занимать европейская манера рисования. Один раз он даже заставил мастера Османа сделать копию его портрета, написанного одним итальянцем. Я знаю, что мастер Осман винит меня в том, что ему пришлось заняться этой отвратительной для него работой – он называл ее «пыткой», – и не зря винит.

Я остановился на середине лестницы и посмотрел на небо. Потом, убедившись, что остался в самом хвосте шествия, продолжил спускаться по обледеневшим ступеням. Едва я успел одолеть две ступеньки, как кто-то взял меня под руку: Кара.

– Очень холодно, – сказал он. – Вы не замерзли?

Нисколько не сомневаюсь, что это он растревожил Шекюре. И та уверенность, с которой он взял меня под руку, это подтверждает. Всем своим видом он словно говорил: смотрите, я двенадцать лет работал, почтенным человеком стал. Ступеньки кончились. Про то, что он узнал в мастерской, пусть расскажет после.

– Иди, сынок, вперед, догоняй их, – предложил я.

Он удивился, однако виду не подал. С невозмутимым лицом отпустил мою руку и пошел. Мне даже походка его и та понравилась. Если я отдам ему Шекюре, согласится ли он жить в нашем доме?

Выйдя через ворота Эдирнекапы за пределы города, я увидел далеко внизу почти теряющееся в тумане погребальное шествие, в голове которого двигались носилки с телом; художники, каллиграфы, подмастерья спускались по склону к Золотому Рогу. Они шли так быстро, что уже успели одолеть половину дороги, ведущей из заснеженной долины в Эйюп. По левую руку в тумане и безмолвии курилась веселым дымком труба свечной мастерской. У подножия городской стены всюду работали бойни, поставляющие мясо в Эйюп мясникам-грекам, и кожевенные мастерские. Идущий оттуда запах мертвечины распространялся по долине, что простиралась до едва различимых в тумане куполов мечети Эйюп и кипарисов, растущих на кладбище. Пройдя еще немного, я услышал веселые крики детей, доносящиеся из нового еврейского квартала в Балате.

Когда мы спустились на равнину, ко мне подошел Келебек и сразу с обычной своей горячностью приступил к тому, о чем хотел поговорить.

– Это сделали Зейтин и Лейлек! Им, как всем прочим, было прекрасно известно, что у нас с покойным не самые лучшие отношения. И про то, что это не тайна для других, они тоже знали. Каждый из нас видит в других соперников, надеющихся встать во главе мастерской после мастера Османа. Более того, наши враждебные чувства уже несколько раз выплескивались наружу. Теперь они надеются взвалить вину на меня. Во всяком случае, главный казначей, а по его наущению – и султан отвернутся от меня, нет, от нас!

– Кто такие «мы», о которых ты говоришь?

– Мы – это те, кто говорит, что в мастерской должны сохраняться прежние нравственные устои, что нельзя сворачивать с пути, указанного старыми персидскими мастерами, что не за всякую работу нужно браться только ради денег. Мы хотим, чтобы вместо оружия, войск, пленников, побед наши книги вновь посвящались изложению старых легенд, преданий и историй, чтобы никому непозвально было отходить от старых образцов, чтобы подлинные мастера не работали в лавках на базаре, не унижались, рисуя по требованию первого встречного все,

что тот пожелает. Наш сиятельный султан признаёт нашу правоту и воздаст нам по справедливости.

– Не возводи сам на себя пустой клеветы, – сказал я, чтобы оборвать разговор. – Уверен, в мастерской нет и не может быть никого, кто посмел бы пойти на такое. Все мы братья. Если кто и сделает несколько изображений того, чего мы раньше не касались, – нестрашно. Из-за чего враждовать-то?

Едва я договорил, как мне снова, как при первом известии об исчезновении Зарифа-эфенди, стало совершенно ясно: убийца – один из лучших художников дворцовой мастерской и сейчас он находится среди идущих впереди меня людей, которые уже поднимались на холм, к кладбищу. В тот миг я был уверен, что убийца продолжит творить зло и что он – враг моей книги. И очень может быть, что, придя домой, он примется за работу над одной из ее страниц. Не влюблен ли Келебек в мою дочь, как большинство из приходящих ко мне художников? Вот сейчас, принимаясь излагать свои взгляды, неужели он забыл, что я порой просил его сделать рисунки, прямо им противоречащие? Или он издевается надо мной?

Нет, не может быть, чтобы издевался. Келебек, как и другие мастера, несомненно, благодарен мне, ведь, когда из-за войн и растущего равнодушия султана поток денег и подарков, изливавшийся ранее на художников, иссяк, единственным существенным источником дополнительного дохода стала для всех них работа над моей книгой. Я знал, что они ревнуют меня друг к другу, и по этой причине (хотя не только по этой) приглашал их к себе домой в разное время. С чего бы им относиться ко мне враждебно? Все мои художники люди зрелые и, если уж и так вынуждены питать приязнь к человеку за то, что он дает им возможность заработать, могут найти и какие-нибудь другие, более достойные причины его любить.

Чтобы не затягивать молчания и не возвращаться к тягостному предмету, я заметил:

– Молодцы какие! Несут тело наверх так же быстро, как спускали под гору.

Келебек широко, по-доброму улыбнулся:

– Это от холода.

«Мог ли этот человек убить? – думал я. – Скажем, из зависти. Кто следующий – я? Придумает какой-нибудь предлог: Эниште, мол, возводил хулу на нашу религию. Но ведь он же большой мастер, настоящий талант, зачем ему убивать? А старику, между прочим, подобает не только с трудом подниматься по склону, но и меньше бояться смерти. Желания слабеют, в постель к рабыне ложишься не с волнением, а будто тебя заставляет кто». Внутренний голос вдруг подсказал мне решение, которое я тут же сообщил Келебеку:

– Я остановлю работу над книгой.

Тот обернулся ко мне:

– Что?

– Она приносит несчастье. Да и султан перестал платить. Передай Зейтину и Лейлеку.

Он, наверное, хотел еще что-нибудь спросить, но мы уже дошли до места похорон, окруженного частыми кипарисами, высоким папоротником и могильными камнями. Вокруг самой могилы стояла большая толпа, так что только по доносившимся молитвам и зазвучавшим с новой силой рыданиям было понятно, что тело как раз сейчас предают земле.

– Лицо-то, лицо получше откройте, – сказал кто-то.

Видимо, сейчас распарывают саван; если глаза на изуродованном лице целы, то кто-нибудь может встретиться с покойником взглядом; но я ничего не вижу, потому что стою сзади. Я смотрел в глаза смерти, но было это не на кладбище.

Как сейчас помню: тридцать лет назад блаженной памяти дед нынешнего султана загорелся мыслью отобрать у венецианцев Кипр. Шейх-уль-ислам Эбулсуут-эфенди тут же вспомнил, что во время оно султаны Египта повелели Кипру снабжать продовольствием Мекку и Медину, и выпустил фетву, объявляющую, что нельзя оставлять остров, кормивший священные города, в руках христианских гяуров. Так и случилось, что самое первое мое задание в

качестве посла было очень трудным: предъявить венецианцам неожиданное для них требование отдать принадлежащий им остров. Прибыв в Венецию, я любовался мостами, подивился дворцам и храмам, побывал в самых богатых домах и был околдован увиденными там рисунками, а потом, все еще переполненный впечатлениями и чувствуя себя в безопасности после такой гостеприимной встречи, вручил венецианцам полное угроз письмо и с высокомерным видом объявил, что султан желает получить Кипр. Венецианцы пришли в неопиcуемый гнев, немедленно собрали совет и приняли на нем решение, что подобное требование неgoже даже обсуждать. У дворца, в котором я находился, собралась разъяренная толпа, желающая со мной расправиться; горожане раскидали стражников и привратников, и тут-то мне и пришел бы конец, если бы два приближенных к дожу воина не вывели меня по запутанным коридорам дворца к задней двери, выходящей на канал. Стоял такой же туман, как сейчас, и в этом тумане одетый в белое высокий лодочник на какой-то миг показался мне самой Смертью. Взглянув в его глаза, я увидел в них свое отражение.

Эх, вот бы снова побывать в Венеции! Может быть, удастся после завершения книги? Я подошел к тщательно засыпанной землей могиле. Сейчас покойного расспрашивают ангелы: какого ты пола, какой веры, кто твой пророк? Я подумал о своей смерти.

У моих ног скакала ворона. Я ласково взглянул в глаза Кара, попросил его взять меня под руку и сопровождать на обратном пути. Сказал, что жду его у себя завтра рано утром, чтобы работать над книгой. Ибо стоило мне подумать о смерти, как я сразу понял, что должен доделать свою книгу – во что бы то ни стало.

18. Меня назовут убийцей

Когда изуродованное тело Зарифа-эфенди засыпали мокрой холодной землей, я рыдал громче всех. Кричал: «Я хочу умереть вместе с ним! Пустите, я тоже лягу в могилу!» Меня схватили за пояс, чтобы не свалился в яму. А когда я стал задыхаться от рыданий, мне запрокинули голову назад, давая отдышаться. По взглядам родственников покойного я понял, что, похоже, переусердствовал, и взял себя в руки. А то любители посплетничать начнут говорить в мастерской: не зря, мол, он так убивался; должно быть, у них с Зарифом-эфенди была любовная связь.

Чтобы не привлекать излишнего внимания, я отошел в сторонку, укрылся за чинарой и стоял там до самого окончания похорон. Один из родичей отправленного мною в ад дурака, еще глупее его, настиг меня в моем укрытии и устремил мне в глаза пристальный взгляд, который, должно быть, считал весьма многозначительным. Потом этот глупец надолго заключил меня в объятия, а разжав их, спросил:

– Ты был Субботой или Средой?

– Средой одно время называли покойного, – ответил я, и он удивился.

История этих прозвищ, которые до сих пор связывают нас, подобно общей тайне, проста. В годы ученичества мы благоговели перед художником Османом, который сам лишь недавно из подмастерья стал мастером. Аллах даровал ему волшебный дар и острый ум, и он делился с нами всем, что знал и умел. Как положено подмастерьям, каждое утро один из нас должен был заходить за ним, чтобы проводить от дома до мастерской, неся его сумку, коробку с перьями и папку с бумагой. Мы так хотели быть ближе к мастеру Осману, что ссорились между собой за право исполнить эту обязанность.

У мастера Османа был любимец среди учеников, но, если бы тот стал ходить к учителю каждое утро, это вызывало бы бесконечные толки и непристойные шутки, поэтому мастер решил, что каждый из нас будет приходить к нему в определенный день недели. По пятницам он работал, а по субботам в мастерской не появлялся. Сын мастера Османа, которого тот очень любил, был, как и мы, подмастерьем, и в понедельник, как обычный ученик, сопровождал отца в мастерскую. (Впоследствии он предательски изменил нашему искусству.) Самый способный из нас, высокий худой Четверг, умер молодым от неизвестной болезни, сопровождавшейся жестокой горячкой. Покойный Зариф-эфенди приходил по средам и потому звался Средой. Впоследствии учитель поменял нам прозвища: Вторник стал Зейтином, Пятница – Лейлеком, Воскресенье – Келебеком. Имена эти были даны с любовью и значением; вот и Среда за изящество своих заставок получил имя Зариф. Но было время, когда мастер приветствовал его по утрам, говоря: «Здравствуй, Среда, как поживаешь?»

Вспомнив, как он здоровался со мной, я подумал, что сейчас расплбчусь. В ученические годы, несмотря на все побои, мы жили как в раю, ибо мастер Осман любил нас; когда ему нравились наши рисунки, глаза его увлажнялись, и он целовал нам руки, а наш дар от его похвал и любви расцветал еще больше. В те времена даже зависть, омрачавшая наше счастье, окрашивалась в другой цвет.

Как видите, я чувствую себя словно бы разделенным надвое, как те люди на миниатюрах, которым голову и руки рисует один художник, а туловище и одежду – другой. Живущему в страхе Божьем человеку вроде меня, который, сам того не ожидая, становится убийцей, непросто привыкнуть к своему новому положению. Чтобы жить по-старому, как будто ничего не случилось, я обзавелся новым голосом, подходящим для убийцы, язвительным и гнусным. Старая моя жизнь сама по себе, а новый голос, которым я сейчас разговариваю, – сам по себе. Конечно, порой вы будете слышать мой старый голос, который остался бы при мне, не сделайся я убийцей, но тогда я стану представляться своим прозвищем. И пусть никто не пытается объ-

единить эти два голоса, ибо у меня нет личного стиля и личных изыянов, которые могли бы меня выдать. Стиль, которым кое-кто похвывается, и вообще все, что отличает одного художника от другого, я считаю изыяном, а не признаком своеобразия.

Конечно, мне непросто. Я ведь совсем не хочу, чтобы вы поняли, кто я такой: Келебек, Зейтин или Лейлек, если пользоваться прозвищами, которыми нас любовно наделил мастер Осман и ласково называет Эниште. Потому что стоит вам догадаться, кто я, как вы поспешите предать меня в руки дворцовых палачей.

Потому-то отнюдь не обо всем я могу думать и говорить. Ведь даже оставаясь один на один со своими мыслями, я чувствую, что вы за мной наблюдаете. Я не волен беспечно обдумывать кривые пути своей жизни или давать выход раздражению. Рассказывая истории, озаглавленные «Алиф», «Ба» и «Джим», краешком сознания я следил за вами.

Все воины, принцы и великие любовники легенд, десятки тысяч которых я нарисовал за свою жизнь, обращены не только к нарисованному миру и легендарным временам, где они живут, бьются с врагами, побеждают драконов и льют слезы по прекрасным девушкам; отчасти они обращены и к любителю книг, который рассматривает один великолепный рисунок за другим. Если и есть у меня стиль и личные особенности, их можно найти не только в рисунках, но и в убийстве, которое я совершил, в моих словах! Попробуйте-ка по цвету слов понять, кто я такой!

Думаю, если вы меня поймаете, неприкаянная душа бедного Зарифа-эфенди обретет покой. Сейчас, когда я стою среди деревьев, слушаю птичий гам, смотрю на воды Золотого Рога и купола стамбульских мечетей и с новой силой ощущаю, как прекрасна жизнь, его тело засыпают землей – лопата за лопатой. В последнее время, связавшись с последователями сурового эрзурумского проповедника, бедный Зариф-эфенди меня невзлюбил, но в те двадцать пять лет, что мы вместе работали над книгами в дворцовой мастерской, бывали времена, когда мы дружили. Приятелями мы стали двадцать лет назад, работая над «Шахнаме» для отца нынешнего султана, но по-настоящему сдружились позже, когда делали восемь страниц с миниатюрами к «Дивану» Физули⁷⁰. Зариф-эфенди тогда был увлечен в чем-то справедливой, но все равно непоследовательной идеей, что художник должен душой прочувствовать строки, которые отображает на рисунке. Для этого однажды летним вечером мы с ним пришли в его сад, и он с напыщенным видом стал читать вслух стихи Физули. Я терпеливо слушал, а над нашими головами носились ласточки. От того вечера в памяти у меня осталась строчка: «Я – это не я: то, что я называю собой, – это ты», и еще помню, как размышлял над тем, какую к этой строчке можно сделать иллюстрацию.

Едва узнав о том, что тело Зарифа нашли, я побежал в его дом. Маленький сад, где мы когда-то читали стихи, теперь засыпанный снегом, показался мне еще меньше, как бывает со всеми садами, которые видишь через много лет. То же самое и с домом. Из боковой комнаты слышались преувеличенно громкие рыдания причитающих и воющих женщин, каждая как будто старалась перекрычать других. Я внимательно слушал рассказ самого старшего из братьев покойного: от лица у нашего несчастного Зарифа-эфенди почитай ничего не осталось, голова разбита. Братья не смогли признать Зарифа в мертвеце, которого достали из колодца, где он пролежал четыре дня; пришлось ночью, под покровом тьмы, призвать из дома бедняжку Кальбийе – та опознала мужа по изорванной в лохмотья одежде. У меня перед глазами возникла сцена спасения Юсуфа из колодца: завистливые братья бросили его туда, а торговцы-мидианитяне спасли. Я очень люблю рисовать это место из «Юсуфа и Зулейхи»⁷¹, потому что оно напоминает: зависть к братьям – одно из самых жгучих чувств в жизни.

⁷⁰ Физули (ок. 1494–1556) – поэт и мыслитель, писавший на персидском, азербайджанском и арабском языках.

⁷¹ «Юсуф и Зулейха» – литературно-фольклорный памятник многих народов Востока, в основе которого лежит библейско-кораническая легенда об Иосифе Прекрасном (Юсуфе).

Наступило короткое затишье, и я почувствовал, что все смотрят на меня. Заплакать? Но тут мой взгляд уперся в Кара. Этот подлый проныра ко всем нам принохливается и присматривается и пытается поставить себя так, будто Эниште-эфенди поручил ему разобрать это дело и докопаться до истины.

– Кто только мог совершить такую подлость? – вскричал старший из братьев. – Каким безжалостным мерзавцем надо быть, чтобы поднять руку на нашего брата, который за всю жизнь и мухи не обидел!

В ответ все заплакали, я тоже истово присоединился к рыданиям, а сам подумал: а действительно, водились ли у Зарифа враги? Если бы я не убил его, кто еще мог бы это сделать? Помню, например, одно время (кажется, мы тогда работали над «Хюнернаме»⁷²) некоторые художники обвиняли его в том, что он пренебрегает приемами старых мастеров и, для того чтобы делать заставки быстрее и дешевле, использует плохие краски и портит ими края страниц, на которые у других уходит столько труда. Как звали тех, с кем он тогда поругался? Кстати, потом ходили слухи, что причина ссоры крылась в ином, что виной тут нежные чувства к смазливому подмастерью-переплетчику с нижнего этажа. Но это очень давняя история. Были такие, кого раздражало изящество Зарифа, его утонченность и какая-то женская обходительность. Те же люди недолюбливали его за то, что он рабски следовал старым приемам, скрупулезно придерживался правил сочетания цветов в рисунках и заставках, а еще любил в присутствии мастера Османа с умным видом, впрочем не выходя за рамки вежливости, указать на недостатки, якобы имеющиеся у других художников – в особенности у меня. Последняя склока, в которой он принимал участие, была связана с предметом, некогда очень чувствительным для мастера Османа, – с заказами, которые художники дворцовой мастерской тайно брали на стороне. В последние годы, когда султан охладел к мастерской, а главный казначей потерял всякое желание выделять ей деньги, все художники стали тайком захаживать в двухэтажные особняки невежественных выскочек-пашей, а самые даровитые – в дом к Эниште.

Меня несколько не задело, что Эниште решил прекратить работу над своей – нашей – книгой под тем предлогом, что она приносит несчастье. Конечно же, он догадывается, что безмозглого Зарифа-эфенди уколошил кто-то из нас, украшающих книгу. Вот вы бы на его месте стали раз в две недели ночью приглашать в свой дом убийцу – рисования ради? Или сначала захотели бы выяснить, кто убил и кто из художников самый лучший? Нисколько не сомневаюсь, что Эниште очень скоро уразумеет, кто самый искусный из нас, кто лучше всех готовит краски, размечает страницы и рисует, и после этого захочет работать только со мной. И мысли не допускаю, что он, выжив из ума, посчитает меня не обладателем подлинного дара, а обычным убийцей.

Я краем глаза наблюдаю за этим остолопом Кара-эфенди, которого Эниште привел с собой. С кладбища они вышли вместе и с редющей толпой участников похорон спустились к пристани Эйюп. Я пошел следом. Они сели в четырехвесельную лодку, а я, попозже, – в шестивесельную, вместе с молодыми подмастерьями, которые уже совершенно забыли о похоронах и перешучивались между собой. Когда напротив Фенеркапы наши лодки подошли вплотную друг к другу, я увидел, как Кара что-то увлеченно рассказывает Эниште, и вдруг подумал, до чего легко было бы снова убить человека. О Аллах, Ты всем дал эту невероятную силу, но вселил в нас ужас перед нею.

Но, победив единожды этот страх, человек становится другим. Раньше я боялся не только шайтана, но и мимолетного присутствия зла в моей душе. Теперь же я чувствую, что со злом легко ужиться, оно даже полезно художнику. Если не брать те несколько дней сразу после убийства, когда у меня дрожали руки, я стал лучше рисовать, смелее использую яркие краски, а

⁷² «Хюнернаме» – книга, повествующая о важных событиях османской истории и доблестных деяниях османских султанов.

самое главное – замечаю, что мое воображение окрепло и творит чудеса. Впрочем, много ли в Стамбуле найдется людей, способных оценить чудеса, созданные мною на бумаге?

Когда мы были напротив Джибали, в самой середине Золотого Рога, я со злобой посмотрел на Стамбул. Заснеженные купола мечетей ярко блестели под неожиданно выглянувшим из-за туч солнцем. Чем обширнее и красочнее город, тем больше в нем уголков, где можно спрятать вину и грех, чем населеннее он, тем больше в нем людей, среди которых может затеряться преступник. И если сравнивать города – в каком из них больше разума, – то умнее окажется не тот, где больше всего библиотек, медресе, ученых, художников и каллиграфов, а тот, где за тысячи лет на погруженных во тьму улицах совершалось больше всего коварных преступлений. И в этом смысле Стамбул – умнейший город вселенной, не сомневаюсь.

На пристани Ункапаны Кара и Эниште сошли на берег, я – тоже. Они двинулись вверх по холму, я последовал за ними. За мечетью султана Мехмеда, у пепелища, они остановились, обменялись напоследок парой слов и разошлись. Эниште-эфенди, бредущий по улице в одиночестве, на какое-то мгновение показался мне совсем немощным стариком. Захотелось догнать его, открыть, что жалкий глупец, с похорон которого мы возвращаемся, хотел нас оклеветать, что я убил его, чтобы всех нас спасти... И еще мне захотелось спросить: правда ли то, что говорил Зариф-эфенди? Не используем ли мы во зло доверие султана? Не предаем ли наше ремесло, не оскорбляем ли веру? Закончен ли последний большой рисунок?

Я остановился посреди заснеженной улицы, которую дети и их отцы, разойдясь по домам, оставили на произвол джиннам, пери, разбойникам, вора и мне. В конце ее, между голых ветвей гранатового дерева, проглядывала крыша красивого двухэтажного дома Эниште. Там, в этом доме, живет самая красивая женщина на свете. Но я не хочу лишиться рассудка.

19. Я – монета

Я – золотая османская монета двадцать второй пробы. На мне отчеканена благородная тугра нашего султана, повелителя вселенной. Меня нарисовал один из прославленных мастеров, служащих султану, художник Лейлек; нарисовал прямо здесь, в этой уютной и печальной кофейне, после похорон. Дело было в полночь, и он не смог покрыть меня позолотой, но тут вы и сами всё понимаете. Изображение мое перед вами, но сама я в кошельке у большого мастера, вашего собрата Лейлека. Вот он поднимается, достает меня из кошелька и показывает вам. Здравствуйтесь, здравствуйтесь, мастера-художники и все прочие посетители, мир вам! От моего сверкания у вас расширяются глаза, отблески свечей на моих золотых боках заставляют ваше сердце трепетать, и вы завидуете моему хозяину, мастеру Лейлеку. Что ж, вы правы, потому что я – единственная мера, которой можно измерить дар художника.

За последние три месяца мастер Лейлек заработал ровно сорок семь золотых монет, таких как я. Все мы лежим в этом кошельке, и, как видите, мастер Лейлек не скрывает, что мы у него есть. Он знает, что в Стамбуле нет художника, который зарабатывал бы больше. Я очень горжусь, что художники принимают меня как меру одаренности и почитания и что я могу положить конец любому бессмысленному спору. Раньше, до того, как вы привыкли пить кофе и в головах у вас прояснилось, бестолковые художники по вечерам принимались выяснять, кто из них мастеровитее, кто лучше умеет сочетать цвета, кто лучше рисует деревья или облака; спорами дело не ограничивалось, и почитай каждую ночь мастера сходились в драке и выбивали друг другу зубы. Теперь же мое разумное господство установило в мастерских любовное согласие и гармонию, не хуже чем в Герате старых времен.

Продолжая рассуждать разумно и последовательно, расскажу вам, что можно приобрести на одну золотую монету: ступню молодой красивой наложницы, то есть ее, наложницы, пятидесятую часть; хорошее цирюльничье зеркало в раме из грецкого ореха и кости; искусно расписанный сундук с изображением солнца, серебряной инкрустацией на девятисто акче и выдвижными ящичками; сто двадцать свежих хлебов; участок на три могилы на кладбище и носилки для покойника; серебряный амулет; одну десятую коня; ноги немолодой толстой наложницы; телянка; две отличные тарелки из Китая; охотничьего сокола с клеткой; десять кувшинов вина с винодельни грека Панайота; час райских наслаждений с юным Махмудом, красота которого славится на весь свет; и много чего другого – всего не сосчитаешь. Кстати, один золотой – это все, что зарабатывает за месяц тебризец Дервиш Мехмед, один из художников-персов, работающих в дворцовой мастерской, и очень многие ему подобные.

До того как попасть сюда, я провела десять дней в грязном чулке бедного подмастерья-сапожника. Каждую ночь, прежде чем заснуть, бедолага принимался перечислять все то, на что он может меня потратить, – это была его колыбельная, длинная и завораживающая. Слушая его, я пришла к выводу, что деньги могут все.

Раз уж начала вспоминать, продолжу. Если рассказ обо всех моих приключениях записать, получилась бы не одна книга. Мы тут в своем кругу, и, если вы поклянетесь, что не проболтаетесь, а мастер Лейлек пообещает не обижаться, я открою вам одну тайну. Обещаете?

Хорошо. Сознаюсь. На самом деле я не настоящая монета двадцать второй пробы, отчеканенная на монетном дворе в Чемберлиташе. Я – поддельная монета. Меня изготовили в Венеции из низкопробного золота, привезли сюда и выдали за османский золотой. Спасибо за то, что снисходительно отнеслись к моему признанию.

Как я узнала на монетном дворе в Венеции, этим промыслом занимаются уже много лет. Однако до самого последнего времени гяуры привозили на Восток сделанные из того же низкопробного золота на том же монетном дворе венецианские дукаты. Османцы, привыкшие верить написанному, считали, что если на монете отчеканено «венецианский дукат», то это и есть

настоящий венецианский дукат, а проверить содержание золота им в голову не приходило. Из-за этого поддельные дукаты заполонили весь Стамбул. Потом османцы научились пробовать монеты на зуб: те, в которых золота мало, а меди много, тверже. Скажем, если ты, объятый любовным огнем, прибегаешь к прекрасному Махмуду, в которого влюблен весь свет, то он сначала сует себе в рот не что-нибудь другое, а твою монету, и, обнаружив, что она поддельная, дарит тебе не час райского наслаждения, а полчаса. Увидев, что поддельные дукаты постиг такой печальный конец, венецианские гяуры решили чеканить османские золотые: снова, мол, ничего не заметят.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.